Николай Гоголь



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Петербургские повести

Повести на грани реализма и фантастики, где вместе с «маленьким человеком» героем выступает мистический, иногда зловещий Петербург.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Петербургские повести
Николай Васильевич Гоголь

Аннотация

Аннотация

Повести на грани реализма и фантастики, где вместе с «маленьким человеком» героем выступает мистический, иногда зловещий Петербург. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться.

Николай Гоголь



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Петербургские повести

Повести на грани реализма и фантастики, где вместе с «маленьким человеком» героем выступает мистический, иногда зловещий Петербург.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Николай Гоголь

Петербургские повести

ПОЛКА

альпина ПРОЗА

Москва, 2024

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Рекомендуем книги по теме



Полка: О главных книгах русской литературы (тома I, II)

Коллектив авторов



Полка: О главных книгах русской литературы (тома III, IV)

Коллектив авторов





Жан Жерень. Портрет Николая Гоголя.

Конец 1830-х годов. © Legion-Media.

Невский проспект

Предисловие «Полки»

Повесть Гоголя, в которой романтические приключения заканчиваются одновременно трагедией и фарсом . Невский проспект становится символом и центром петербургской жизни, а сам Петербург — призрачным городом, в котором все не то, чем кажется.

Валерий Шубинский



О чем эта повесть?

«Невский проспект» — короткая повесть о двух приятелях-петербуржцах и об их романтических увлечениях и любовных похождениях, которые заканчиваются в одном случае трагически, в другом — гротескно-комически. Герои — романтически настроенный художник Пискарёв и жовиальный поручик Пирогов — воплощают два типа петербуржца: экзальтированного романтика и приземленного обывателя, но оба они — игрушки столичной жизни, с ее иллюзорностью и непредсказуемостью.

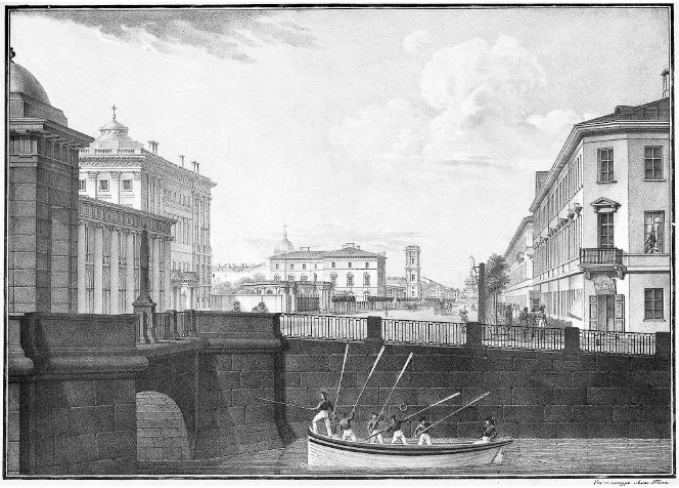
Когда она написана?

Первые черновики повести относятся к 1831 году. Полная черновая редакция была готова в 1834 году, окончание работы над повестью исследователи датируют маем–августом того же года. Цензурное разрешение сборника «Арабески», в котором напечатана повесть, было выдано 10 ноября 1834 года. Гоголь в это время жил в Петербурге и одновременно работал над другими петербургскими повестями — «Носом» и «Записками сумасшедшего».

Как она написана?

Повесть начинается с описания Невского про-

спекта в разное время суток. Завершается этот фрагмент сценой вечернего гуляния на главной городской улице. Это позволяет создать своего рода панораму столичной жизни, причем весьма парадоксальную по приемам. Как указывает Юрий Тынянов, «Невский проспект» основан на эффекте полного отождествления костюмов и их частей с частями тел гуляющих: «“Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческой прекрасный нос… четвертая (несет. — *Ю. Т.*) пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку” и т.д. Здесь комизм достигнут перечислением подряд, с одинаковой интонацией, предметов, не вяжущихся друг с другом»1.



Вид Фонтанки у Аничкова моста. Гравюра Александра Тона. 1820-е годы{1}

Именно в этот момент появляются два главных героя. Обратив внимание на двух разных молодых женщин (Пискарёв — на брюнетку, Пирогов — на блондинку), они разлучаются друг с другом и устремляются за понравившимися им дамами. Романтичного Пискарёва дорога приводит в бордель: женщина, принятая им за аристократку, оказывается проституткой. В ужасе убежав из «обители разврата», он погружается в болезненные грезы. В одном из снов девушка в самом деле

оказывается аристократкой, а ее пребывание в публичном доме имеет некое таинственное объяснение; в другом сне (который он видит под воздействием опиума) она предстает ему «у окна деревенского светлого домика».

При этом стиль повествования все время меняется. От нравоописательной «болтовни» (пародирующей стилистику проправительственной «Северной пчелы» и охранительской «Библиотеки для чтения») Гоголь переходит к столь же иронической патетике, а затем — к колоритным бытовым деталям. Вот, например, реплика торгующего опиумом «персиянина», к которому художник обратился за товаром: «Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!»

Кульминация действия — вторичный приход Пискарёва в публичный дом, предложение руки и сердца, сделанное им «аристократке», ее отказ и его самоубийство. Затем автор переходит к гротескной и вульгарной истории ухаживаний Пирогова за женой жестянщика Шиллера.

Финал повести — вновь мотив Невского про-

спекта. Последний абзац проникнут одновременно пафосом и иронией; Невский предстает волшебным, заколдованным местом, где всякая видимость обманчива:

О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! <…> Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Однако, в отличие от других повестей Гоголя, «демонизм» Невского и вообще Петербурга в этой повести раскрывается не через фантастику. Происшествия, случившиеся с героями, вполне реальны и почти будничны.

Что на нее повлияло?

Как и вообще на «Петербургские повести» Гоголя, на «Невский проспект» повлияли произ-

ведения Гофмана. С другой стороны, отмечают влияние на Гоголя французского писателя Жюля Жанена (прежде всего романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина», 1829) и сборника «Париж, или Книга ста одного» (1832) — книг, очень популярных у образованной русской публики. С гоголевской повестью эти тексты сближает тема любви к «падшей» женщине и в то же время описание каждодневной жизни города (Парижа), в которой будничное сливается с фантастическим. Описание опиумных грез Пискарёва может отсылать к «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Квинси (1821; в русском переводе, изданном в 1834-м, ошибочно приписана Мэтьюрину).

Вслед за Жаненом и Поль де Коком Гоголь в «Невском проспекте» использует элементы зародившегося во французской романтической литературе жанра физиологического очерка (описание Невского, петербургских художников и офицеров), но они инкорпорированы в связное сюжетное повествование. Сам мотив непредсказуемости и загадочности, присущей Петербургу, делает нравоописательные свидетельства условными и в каком-то смысле недостоверными. Тем не менее «Невский проспект» больше, чем другие

произведения Гоголя, повлиял на вышедший в 1845-м сборник «Физиология Петербурга».

Как она была опубликована?

Первая публикация — в книге Гоголя «Арабески» (1835). Здесь же были напечатаны повести «Портрет» и «Записки сумасшедшего», отрывок из неоконченного романа «Гетьман» и несколько исторических, критических и педагогических статей. Вторая прижизненная публикация «Невского проспекта» состоялась в 1842 году в третьем томе собрания сочинений Гоголя.

Как ее приняли?

До публикации Гоголь показывал повесть Пушкину — тот написал в ответ, что «прочел с удовольствием», и высказывал надежду, что повесть пропустит цензура.

Виссарион Белинский в статье «О русской повести и о повестях г. Гоголя» не без иронии отметил образ Пирогова: «Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок[1], многозначительнее, чем Фауст! <…> Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен,

что придет по плечам тысячи человек»2. Барон Брамбеус (Осип Сенковский), резко критически оценивший «Арабески», с похвалой отзывается о «Невском проспекте»: «Очень забавна история одного немецкого носа, спасенного от неминуемой погибели поручиком Пироговым»3.

Что было дальше?

О «Невском проспекте» писали несколько меньше, чем о других петербургских повестях. Тем не менее к образу поручика Пирогова обращается Федор Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год. С точки зрения Достоевского, поручик Пирогов «был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много». Для Достоевского Пирогов воплощает такую важную для него категорию, как «бесстыдство».

Авторов XX века (Василия Зеньковского, Константина Мочульского) скорее занимает фигура художника Пискарёва — в традиционном романтическом контексте (конфликт мечты и реальности). Мочульский отмечает: «В нашей “ужасной жизни” сама красота, эта небесная гостья, находится во власти злых сил; обреченная на гибель, она губит всех, кто к ней приближается; на такую действительность Пискарёв не

согласился: сначала он пытался уйти от нее в сны, потом в видения, порожденные опиумом; но бегство не спасло его».

Каково место повести в творчестве Гоголя?

«Невский проспект» входит в число так называемых петербургских повестей, в которых Петербург предстает, с одной стороны, городом «маленьких людей», главным образом мелких чиновников, живущих неустроенной, убогой и прозаичной жизнью, с другой — городом «призрачным», фантастическим, в котором все пропорции искажены. При этом в «Невском проспекте» фантастический элемент в чистом виде отсутствует (в отличие от «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Портрета»), а оба героя не чиновники.

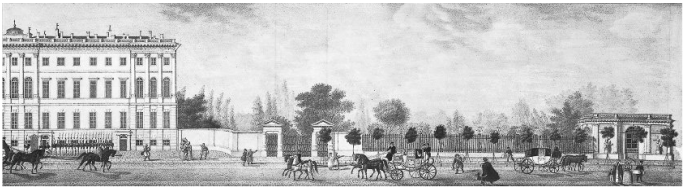
Отдельные мотивы перекликаются с другими повестями. Так, зловещий ростовщик-персиянин из «Портрета» рифмуется с комическим (но тоже зловещим) персиянином из «Невского проспекта», дающим Пискарёву опиум. При этом оба героя (Пискарёв и Чертков) — нищие художники, которые становятся жертвами мании (в одном случае — любовной, в другом — связанной с успехом и деньгами). С «Носом» соотносится сцена, где Шиллер просит Гофмана отрезать ему нос. В

двух повестях («Невский проспект» и «Записки сумасшедшего») присутствует мотив несчастной любви, которая в обоих случаях оказывается неуместной, нелепой и навлекает на героев несчастье.

Таким образом, повесть занимает органичное место внутри внешне не обозначенного, но фактически сложившегося цикла, вступая в сложные интертекстуальные взаимоотношения с другими произведениями.

Какую роль играл Невский проспект в жизни Петербурга 1830-х и как это отразилось в культуре?

Невский проспект, первоначально проложенный как Большая Перспективная дорога между городом и Александро-Невским монастырем (позднее лаврой), стал центральной городской магистралью после принятия нового генерального плана в 1737 году и активно застраивался во второй половине XVIII и начале XIX века. Застройка (запечатленная на «Панораме Невского проспекта» Василия Садовникова) носила строгий ампирный характер и в значительной части не сохранилась.



Иван Иванов с рисунка Василия Садовникова. Аничков дворец. Из серии «Панорама Невского проспекта». 1830 год{2}

Именно в начале XIX века Невский стал популярным местом прогулок. Например, его отрезок от Фонтанки до Дворцовой площади входил в маршрут ежедневной полдневной прогулки Александра I, за которым считали за честь следовать столичные франты. У Гоголя — другая эпоха, у нового царя нет привычки гулять в полдень без охраны, и местом престижных гуляний Невский становится только по вечерам.

В то же время Невский был главным местом уличной проституции (очень длительное время — вплоть до последних десятилетий, когда зона покупной любви сдвинулась к Московскому вокзалу и на Старо-Невский).

Повесть Гоголя породила литературную традицию восприятия Невского как главной оси петербургской жизни, ее символа и средоточия. Вот, например, иронический пассаж из преди-

словия к «Петербургу» Андрея Белого:

…Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов — и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например)… <…>

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да…

Как соотносится действие повести с петербургской топографией?

Повесть очень топографически конкретна. Если предполагать, что начало ее происходит около Гостиного Двора, то Пискарёв следует за «красавицей» по Невскому, через Аничков мост в сторону Литейной першпективы (ныне Литейный проспект) — в тот момент малопрезентабельной улицы, которая лишь начала благоустраиваться.

Пирогов же отправляется за блондинкой на Мещанскую улицу, «улицу табачных и мелоч-

ных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф». Имеется в виду Большая Мещанская — нынешняя Казанская. Двойственная репутация улицы приводит к тому, что Пирогов, вероятно, принимает супругу жестянщика за «нимфу» (то есть проститутку), тогда как романтик Пискарёв видит в «падшем создании» аристократку.

Каков социальный статус героев?

Как подчеркивает Гоголь, Пирогов принадлежит к «среднему классу общества» — так же как, к примеру, Поприщин из «Записок сумасшедшего». Однако, в отличие от последнего, он вполне доволен своим положением. Молодость и военная (а не гражданская) служба открывают перед ним определенные перспективы. Он — потомственный дворянин и, в частности, может «монетизировать» это преимущество способом, который у Гоголя прямо разъясняется: браком с дочерью богатого купца (сюжет, запечатленный на картине Федотова «Сватовство майора»). Купцу наличие зятя-дворянина, в свою очередь, давало не только моральные, но и материальные преимущества — возможность покупать населенные имения на имя дочери.

Пирогов «покровительствует» бедняку Пискарёву. Сами имена героев — говорящие, указыва-

ющие на «плотоядность» и благополучие первого (важная деталь: после пережитого унижения Пирогов утешается, съев два слоеных пирожка) и социальное «ничтожество» второго (чья фамилия ассоциируется с «пескарем» — мелкой рыбешкой — и словом «писк»). Статус художника в России первой половины XIX века был зыбким и неопределенным. Выпускник Академии художеств, как и выпускник университета, имел право на чин X класса (дающий, в свою очередь, право на личное дворянство), но первые десять лет обязан был служить исключительно по своей профессиональной части; так как таких вакансий было мало, возможность реализовать право на чин была весьма ограниченна. На практике неслужащий художник находился на полпути между квалифицированным ремесленником и человеком из дворянского общества. Однако возникший в 1820-е годы романтический культ «человека искусства» сыграл художникам на руку и повысил их статус. Среди русских художников первой половины XIX века преобладали представители профессиональных художественных династий (Карл и Александр Брюлловы, Сильвестр Щедрин, Федор Бруни, Александр Иванов), выходцы из социальных низов, вплоть до крепостных,

обязанные карьерой личным талантам и удаче (Василий Тропинин), наконец, люди с изначально неопределенным социальным статусом — скажем, внебрачные дети дворян (Орест Кипренский). Тем не менее все больше появлялось художников дворянского происхождения (граф Федор Толстой, барон Петр Клодт, Павел Федотов). О происхождении Пискарёва, так или иначе, ничего не сказано, — видимо, он разночинец, не имеющий никаких доходов, кроме скудного профессионального заработка.

Насколько ПискарЁв соответствует романтическому стереотипу художника?

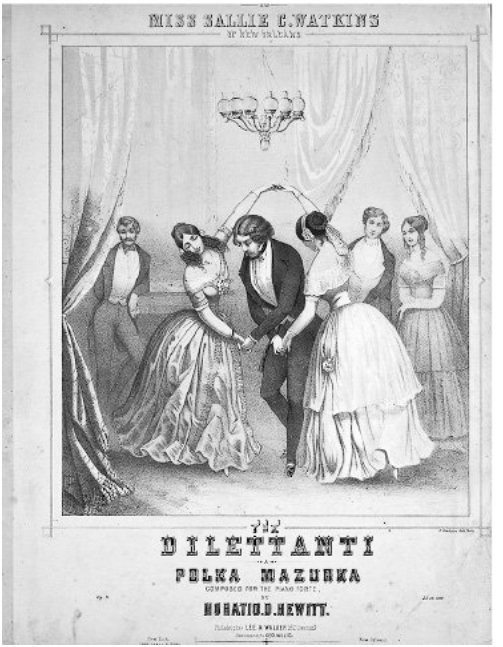
Художник как человек, чуждый всему низменному и земному, самозабвенно и бескорыстно, часто с трагическим исходом, служащий красоте, — общее место романтизма, в том числе русского. Эти стереотипы восходят к творчеству ранних немецких романтиков, таких как Новалис и Ваккенродер. В позднеромантической литературе они во многом вульгаризировались.

Русские писатели 1820–1840-х годов часто обращались к этим мотивам. В повести Вильгельма Карлгофа «Живописец» (1830) превращение офицера в художника трактуется идиллически, в духе немецкого бидермейера. Напротив, одноименная

повесть Николая Полевого, опубликованная в 1833-м, подчеркнуто драматична по сюжету. Если герой Карлгофа — счастливый отец семейства, то удел художника у Полевого — возвышенная спиритуальная (и неразделенная) любовь, вдохновенное свыше творчество и безвременная гибель. Теми же мотивами проникнуты такие повести и пьесы, как «Винченцо и Цецилия» (1828) и «Импровизатор» (1843) Владимира Одоевского, «Торквато Тассо» (1831), «Джулио Мости» (1833) и «Доменикино» (1838) Нестора Кукольника.

Пушкин в «Египетских ночах» противопоставляет этому стереотипу «неправильных» художников: циничного профессионала импровизатора, рассматривающего свое ремесло как средство заработка, и светского дилетанта Чарского, который стыдится своего таланта. Гоголь же как будто воспроизводит стереотип, причем намеренно пользуется при описании Пискарёва преувеличенно экзальтированным языком («Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то

самое, напротив, еще более освятило их») — чтобы через минуту столкнуть героя с вульгарной реальностью. В результате Пискарёв оказывается в конечном счете больше похож на гофмановских чудаков, балансирующих между своими грезами и явью, чем на стандартного позднеромантического «творца». Однако приемы, которыми для создания этого образа пользуется Гоголь, отличаются от гофмановских.



Мазурка. Иллюстрация на обложке The Dilettanti Polka Mazurka. 1850 год{3}

Как Гоголь описывает публичный дом?

Повесть Гоголя написана за девять лет до легализации проституции в России (1843). С этого времени женщины, предоставлявшие сексуальные услуги, подлежали особой регистрации и

обязательному медицинскому осмотру, дома терпимости действовали официально. В период написания «Невского проспекта» проституция уже не преследовалась полицией, но легального статуса не имела. Прямое описание борделя возможно было лишь в тексте, не предназначенном для печати (пример — «Опасный сосед» Василия Пушкина). Гоголь был обречен на поиск косвенных и завуалированных формул в этом эпизоде.

Писатель начинает с нейтрального по тону описания:

Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздава-

лись без всякого принуждения.

В принципе, для читателя-современника этого было достаточно. Но Гоголь предпочитает уточнить суть дела — в той эвфемистической, манерной и жеманной форме, которую допускали требования цензуры: «…он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы». Теперь уже больше никаких пояснений не требуется, но Гоголь продолжает патетический монолог, доводя до абсурда и явно пародируя жеманство и пафос, к которому вынужден был прибегнуть: «Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом».

Для сравнения можно привести устный рассказ Гоголя, зафиксированный писателем Владимиром Соллогубом. Проходя ночью по улице и

заглянув в освещенные окна дома, Гоголь стал свидетелем следующей сцены:

…В довольно большой и опрятной комнате с низеньким потолком и яркими занавесками у окон, в углу, перед большим киотом образов, стоял налой, покрытый потертой парчой; перед налоем высокий, дородный и уже немолодой священник, в темном подряснике, совершал службу, по-видимому молебствие; худой, заспанный дьячок вяло, по-видимому, подтягивал ему. Позади священника, несколько вправо, стояла, опираясь на спинку кресла, толстая женщина, на вид лет пятидесяти с лишним, одетая в ярко-зеленое шелковое платье и с чепцом, украшенным пестрыми лентами на голове; она держалась сановито и грозно, изредка поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в красных, желтых и розовых платьях, с цветами и перьями в завитых волосах; их щеки рдели таким неприродным румянцем, их наружность так мало соответствовала совершаемому в их присутствии обряду, что я невольно расхохотался и посмотрел на моего приятеля; он только пожал плечами и еще с большим вниманием уставился в окно.

Вдруг калитка подле ворот с шумом раствори-

лась и на пороге показалась толстая женщина, лицом очень похожая на ту, которая в комнате присутствовала на служении.

— А, Прасковья Степановна, здравствуйте! — вскричал мой приятель, поспешно подходя к ней и дружески потрясая ее жирную руку. — Что это у вас происходит?

— А вот, — забасила толстуха, — сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить.

Гоголь позволил себе нарушить правила приличия, рассказав в светском салоне при дамах гривуазный анекдот про молебен в публичном доме, поскольку при этом сумел ни разу не назвать вещи своими именами: описание заведения и так делает его легко опознаваемым. Но в «Невском проспекте» он прибегает к более сложной и многослойной стилистической игре.

Что видит Пискарёв во сне?

Очевидно, что оба сна Пискарёва имеют литературное происхождение. В первом сне для этого используется жанр романтической новеллы. Незнакомка, оказавшаяся светской дамой, собирается раскрыть Пискарёву «тайну» о том, почему она оказалась в «презренном кругу». Вто-

рой сон — в духе бидермейера: героиня предстает грациозной и невинной сельской красавицей.

Вернувшись к реальности, Пискарёв начинает действовать тоже в соответствии с литературными стереотипами — стереотипами дидактической литературы о «пробуждении к новой жизни» падших созданий. Пример использования такого рода ходов в русской литературе — стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья…» (1845). У Гоголя результат, однако, оказывается обескураживающим: девушка вовсе не хочет быть спасенной.

Почему ремесленники в повести — немцы?

С момента основания Петербурга квалифицированные ремесленники из Германии в больших количествах селились в городе. Первоначально немецким районом был Васильевский остров, затем появились новые этнически окрашенные районы, в том числе Мещанская. Не будучи членами мещанских обществ и цехов (хотя временно приписываясь к последним), связанные товарищескими и земляческими отношениями, немецкие ремесленники жили особняком и часто свысока относились к своим русским собратьям. Это нашло отражение в литературе («Гробовщик» Пушкина). У Гоголя высокомерие Шиллера выра-

жается неоднократно, в том числе в невероятно задранной цене за «немецкую работу».

Почему у жестянщика Шиллера и сапожника Гофмана «литературные» имена?

С одной стороны, это связано с тем, что Петербург (и Невский проспект как его средоточие) — место разрушения тождественности, где все кажется не тем, что оно есть. «Знатная дама» и «Перуджинова Бианка» (имеется в виду Богоматерь с фрески Пьетро Перуджино «Поклонение волхвов», написанной в 1504 году для часовни Санта-Мария-деи-Бианки в итальянском Пьеве) — проститутка; женщина, идущая на улицу со скверной репутацией, — жена почтенного человека; однофамильцы великих романтических писателей — грубые мещане. При этом Шиллер и Гофман носят имена именно тех авторов-романтиков, которых мы вспоминаем в связи с личностью Пискарёва. Их, однако, встречает не художник, а его прозаичный друг, которому они оказываются совершенно под стать.

Заметим, что фамилия третьего, лишь один раз упомянутого немца, «столяра Кунца», соответствует фамилии издателя и друга Гофмана и созвучна слову der Kunst — искусство.

Есть ли в повести литературная полемика?

С литературной полемикой связан прежде всего следующий фрагмент — о представителях того круга, к которому принадлежал Пирогов:

В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове.

Это непосредственная отсылка к статье Феофилакта Косичкина (псевдоним Пушкина) «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов»4. В этой статье Пушкин высмеивает претензии Фаддея Булгарина и Николая Греча, издателей «Северной пчелы», на статус «серьезных» писателей и саркастически противопоставляет им Александра Орлова (ок. 1787–1840), непритязательного и скромного поставщика лубочного чтива. Для людей круга Пирогова презрение к лубочной словесности — признак их социального и образовательного статуса, но для них нет разницы между квалифицированной коммерческой беллетристикой и Пушкиным.

Имя последнего — скорее знак причастности к «высокой» культуре и высшему свету (так же как для Поприщина и Хлестакова).

По мнению литературоведа Владимира Денисова, образы Шиллера и Гофмана могут содержать намек на обыкновение Булгарина и Греча раздавать понравившимся авторам и друг другу такие титулы, как «русский Гете». Еще важнее в этом смысле Мещанская улица — как мы уже упоминали, место расположения борделей. Связь с притонами Мещанской (в девические годы) приписывали жене Булгарина, и этот «компромат» широко использовался в литературной полемике.

Вот, например, завершение «Моей родословной» Пушкина:

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. он в Мещанской дворянин.

Что делают Шиллер и Гофман с Пироговым и почему он не подает жалобы?

В рукописной редакции, воспроизводящейся в некоторых изданиях, прямо сказано, что Пирогов был «очень больно высечен» Шиллером, Гофманом и Кунцем. Пушкин, хваля повесть, пи-

сал Гоголю: «Секуцию жаль выпустить: она мне кажется необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет». Но Гоголь все же опасался, что сцену «секуции» цензура не пропустит, и в итоге в самом деле должен был прибегнуть к эвфемизму: с Пироговым «поступили… так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события».

Порка воспринималась не только как физическое наказание, но и прежде всего как оскорбление. Дворяне были законодательно освобождены от телесных наказаний с 1785 года (как, кстати, и купцы первой и второй гильдии — поэтому городничий в «Ревизоре» боится наказания за порку «унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством»). Представление о том, что дворянин, подвергшийся телесному наказанию, непоправимо обесчещен, было характерно для людей самого разного образовательного статуса и морального уровня. Слухи о порке, которой якобы подвергся Пушкин в 1820-м в канцелярии Милорадовича, распущенные Федором Толстым (Американцем) и повторенные (с возмущением и сочувствием к поэту!) Кондратием Рылеевым, заставили Пушкина вызвать обоих на дуэль.

Оскорбление, нанесенное простолюдином,

нельзя смыть кровью, и единственной реакцией на него могла быть жалоба в государственные органы. Это и собирается сделать Пирогов, но отказывается от своего намерения — не только из легкомыслия, но и потому, что огласка пережитого унижения могла бы сделать его предметом насмешек и сказаться на его карьере. Он предпочитает оставить оскорбление безнаказанным, причем не воспринимает это драматически.



Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! — О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая

коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая на нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими

свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера как муха с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ, иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит

о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический

Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку со своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками,

дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеб-

лей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх.

Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию все порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок

и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет… В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновни-

ка. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару; иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то

чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова

Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. — Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся

ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников

итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на

чистый воздух. Они вообще очень робки; звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже, увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описан-

ный нами молодой человек, художник Пискарёв, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарёва, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив гла-

за; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая,

он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перила у подъезда противупоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту

чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с бóльшим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему довериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарёва, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах

представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат,

порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарёв мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только 17 лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была

исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло… Как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!…» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная… она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица,

так околдовавшая бедного Пискарёва, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать,

один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время… Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов перед сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарёв стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка…»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарёв сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарёв думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее… — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество

разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что… но один уже смиренный вид Пискарёва, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались

они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарёв употребил все усилия, чтоб раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до

ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенно стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним… Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарёва. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет; в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось,

вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под ней, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она, — я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите… — прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

— Вас ненавидеть! мне? я... — хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарёв и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на

него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарёва языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарёва и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила

их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою, в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарёв чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался в углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец, ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в

глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? Зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке… О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный

только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное во двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: старого платья продать. Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессоницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны… она глядит… О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец, сновидение сделалось его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал на яву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная

рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержащего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарёв рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарёв обещал все. Персиянин на минуту

вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискарёву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! Но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика!

Наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее… Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! Как музыкален шум ее шагов и простенького платья! Как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто

осмелится подумать, пусть тот…» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь… какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения… Беспрестанное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти

сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку… Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равно-

душно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волосы, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним; он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарёва и протирая глаза свои. (Тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем,

решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарёв, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец, прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная

душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарёв, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту, за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой

извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка, и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискарёвым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легонькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете

одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презре-

нием и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь «Филатки», которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч, или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов

имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?», но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко все-

му изящному и поощрял художника Пискарёва; впрочем, это происходило может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул,

что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер, в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?» Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно: «Двадцать рублей сорок копеек!» — «Я швабский немец; у меня есть король в Германии.

Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностью сказал:

— Вы извините меня…

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь… вы, верно, не заметили… я офицер…

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз оста-

навливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры?

хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский

возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер в минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас золен зи дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня![2]

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много

работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то по крайней мере уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно

трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употребил все усилия, чтобы окончить скорей начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про

себя, внутренно ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавший головой, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю неизлишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни од-

ной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницей. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки,

— куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькой немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкой и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно

и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и положить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники.

Но я представляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него все, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться: эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев. Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов

был очень больно высечен.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он Бог знает что бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить

генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами

судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? — Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее,

проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Нос

Предисловие «Полки»

Притча о том, как нос майора Ковалева зажил собственной жизнью. Повесть, которую современники считали фривольным анекдотом и которая предвосхитила литературу абсурда XX века.

Игорь Пильщиков



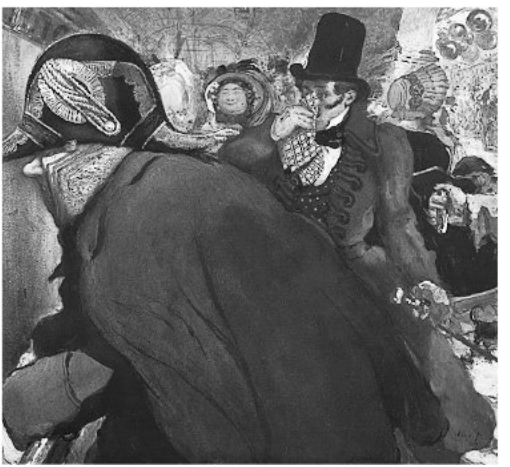
О чем эта повесть?

Однажды утром с лица майора Ковалева необъяснимым образом пропадает нос, который вскоре находит в свежеиспеченном хлебе цирюльник Иван Яковлевич. Нос эмансипируется и начинает жить собственной жизнью: получает чин статского советника, ходит в церковь и готовится удрать за границу, пока наконец столь же необъяснимо не оказывается на своем прежнем месте. Абсурдистская социальная притча или просто фривольный анекдот — «Нос» остается загадочным произведением, вызывающим недоумение и порождающим смелые трактовки.

Когда она написана?

Первоначальный набросок повести относится к концу 1832 года; первая полная редакция, дошедшая до нас в черновом варианте, — к началу 1834 года; первая завершенная редакция датируется 1835 годом. К этому времени Гоголь уже напечатал «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), сборники «Арабески» и «Миргород» (1835) и стал знаменитым писателем. В начале 1840-х годов он значительно переработал повесть: радикально переделал и расширил финал, выделив его в особую третью главу. В результате

абсурдно-комический текст обрел идеальную композицию: 1-я глава — завязка, история цирюльника Ивана Яковлевича, нашедшего нос в хлебе; 2-я глава — основная часть, история майора Ковалева; 3-я глава — неожиданная и немотивированная развязка, за которой следует пародийное и ничего не объясняющее рассуждение повествователя о смысле повести.



Лев Бакст. «Встреча майора Ковалева с носом». 1904 год. Композиция по мотивам повести Н. В. Гоголя «Нос»{4}

Как она написана?

По сравнению с ранними «малороссийскими» повестями Гоголя с их фольклорной демонологией, в повестях петербургского цикла все большее место занимает подспудная, неявная фантастика, проявляющаяся в деталях быта и поведения персонажей1. Сверхъестественные силы уже не вмешиваются в действие, но как бы присутствуют на заднем плане, прорываясь в речь героев. По словам Юрия Тынянова, «фабульная схема гоголевского “Носа” до неприличия напоминает бред сумасшедшего»2. «Чорт его знает, как это сделалось», — говорит себе цирюльник. «Чорт хотел подшутить надо мною!» — объясняет Ковалев. «Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только чорт разберет это!»

Фантастика лишается мотивировки и становится свойством призрачного петербургского мира. Гоголевский Петербург — неестественный, ненормальный и невероятный город3. Сама повседневная жизнь в нем иррациональна, обыденная логика подменяется логикой абсурда. В этом отношении повесть «Нос» во многом предвосхитила психопатологические, абсурдистские и гротескные тенденции авангардного искусства XX века.

Техника гоголевского повествования получила

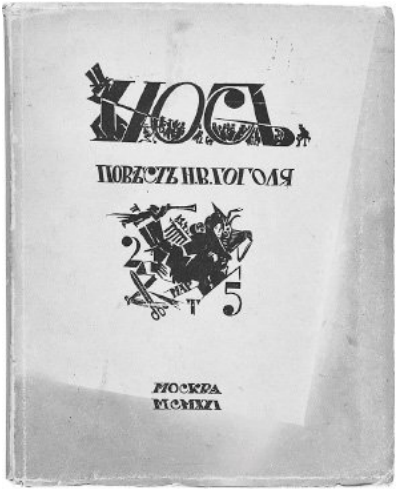
название сказа4. Термин этот ввел Борис Эйхенбаум[3]. Сказ — это художественный монолог, имитирующий спонтанную устную речь со всеми ее алогизмами, повторами и дефектами. История подается «сквозь призму сознания и стилистического оформления посредника-рассказчика»5. Сюжет, построенный на анекдоте, сокращается до минимума, вместо череды событий и положений (или наряду с ними) мы становимся свидетелями разнообразной смены речевых масок6. Яркий пример такой смены — финал «Носа»: рассказчик внезапно берет на себя роль рецензента собственной повести, после чего запутывается окончательно. В отличие от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сказ использован здесь не ради имитации «экзотической» народной речи, а как самоценный стилистический прием. Если в «Записках сумасшедшего», непосредственно предшествовавших «Носу», алогизм мира объяснялся безумием героя, то в «Носе» он не мотивирован ничем, кроме авторского произвола7.

Как она была опубликована?

Гоголь готовил «Нос» для публикации в дружественном ему журнале «Московский наблюдатель». Однако, по свидетельству Белинского, редакция журнала, получив рукопись в марте

1835 года, отказалась печатать повесть «по причине ее пошлости и тривиальности» — или, в другом пересказе того же Белинского, «находя ее грязною»8. Зато «Нос» понравился Пушкину, и повесть увидела свет в третьем томе пушкинского «Современника» (сентябрь 1836 года).

Поздняя редакция была напечатана в составе третьего тома «Сочинений Николая Гоголя» (1842). Здесь впервые оказались под одной обложкой повести из петербургской жизни («Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Нос», «Шинель»). Уже после смерти писателя критика объединила их в цикл «петербургских повестей» (у самого Гоголя такого наименования нет).



«Нос». Издательство «Светлана», 1921 год{5}

Что на нее повлияло?

Повесть Гоголя отчасти близка к фантастике Шамиссо[4] и Гофмана и к повестям русских «гофманианцев» конца 1820-х — начала 1830-х годов о разного рода двойничестве — таковы, например, «Двойник» Антония Погорельского[5] или «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» из «Пестрых сказок» Иринея Гомозейки[6]. И у Гофмана, и у его последователей повествование иронично, оно допускает двоякую интерпретацию фантастики — как мистическую

(сверхъестественные миры, колдовство), так и бытовую (сон, опьянение, буйная фантазия). Но даже на этом фоне повесть Гоголя выделяется откровенной пародийностью, гротескным абсурдом.

Пародийное повествование, эксплуатирующее тему носа, мы находим у любимца русских романтиков Лоренса Стерна — в его знаменитом юмористическом романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Для писателей 1830-х годов этот роман был образцом игры с литературными условностями. Главный прием Стерна — длинные, якобы неуместные отступления от темы, предельно замедляющие развитие сюжета. Одно из самых выдающихся — рассуждение о влиянии величины носа на способности человека. По наблюдению Виктора Шкловского, в романе Стерна «этот мотив развернут с необыкновенной пышностью»; всего «развертывание носологии» занимает около 50 страниц текста, то есть в роман вводится «целая поэма о носах»9. Шутливый термин «носология» ввел в оборот филолог Виктор Виноградов, первым отметивший влияние «Тристрама Шенди» на стилистику гоголевского «Носа»10. В начале 1830-х годов в русской печати появилось несколько шутливых

похвал носу, написанных в подражание Стерну.

Что именно пародирует Гоголь? Например, «тему об отрезанном и запеченном носе можно рассматривать как пародию на ситуации авантюрных романов, повествовавших о странствованиях отрезанных частей тела»11. Виноградов называет популярный авантюрный роман Джеймса Мориера[7] «Хаджи-Баба»: соответствующие главы из него печатались на рубеже 1820-х и 1830-х годов в русских журналах под заглавиями «Печеная голова» и «Повесть о жареной голове». Зачин повести («Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие») и другие подобные пассажи пародируют газетную хронику и журнальные сообщения, печатавшиеся в разделе «Смесь».

Как ее приняли?

Как пустяк, чистый фарс, бессмысленный анекдот. Первым отзывом о повести Гоголя стало примечание издателя «Современника» (Александра Пушкина): «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись»12. Сводя все дело к

фантастике и шутке, это предисловие не давало никакого ключа к прочтению текста. Сохранился экземпляр «Современника»13 с анонимной эпиграммой, вписанной на полях:

У Гоголя валялся Нос,
От публики его он прятал,
Но вот вопрос:
Кто поднял нос
И вздор как дело напечатал?

Булгарин в «Северной пчеле» издевался над разговорным, местами вульгарным языком повести и до неприличия натуралистическими сценками14. Приятель Пушкина барон Егор Розен, считавший «Нос» «отвратительной бессмыслицей» и видевший в ней «пустейший, непонятнейший фарс», удивлялся, «каким чудом» «она могла смешить Пушкина»15. Но еще большее недоумение вызвало у него пушкинское примечание к повести, в которой

…нет ни формы, ни последовательности, никакой связи даже в мыслях; все, от начала до конца, есть непостижимая бессмыслица, отчего отвратительное представляется еще отвратительнейшим! Чего же хотел Пушкин своим примечанием к этой повести? <…> Или он хотел издеваться над вкусом публики, рекомендуя ей,

под видом неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, — такую бессмысленную ералашь?

Степан Шевырев, входивший в круг ближайших друзей Гоголя, называл «Нос» одним из «самых неудачных созданий» писателя16.

Белинский в рецензии на «Сочинения» Гоголя обошел «Нос» вниманием, ограничившись похвалой стилю: «Нос» — этот арабеск, небрежно набросанный карандашом великого мастера, значительно и к лучшему изменен в своей развязке»17. В другой статье, игнорируя комическую и фантастическую составляющие, Белинский подчеркивает в повести натуралистическую (или, как сказали бы век спустя, реалистическую) типизацию18:

Вы знакомы с майором Ковалевым? Отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием со своим злополучным носом? — Оттого, что он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы, так что после знакомства с ним, хотя бы вы зараз встретили целую сотню Ковалевых, — тотчас узнаете их, отличите среди тысячей. Типизм есть один из основных законов творчества, и без него нет творчества.

Сам Гоголь заранее посмеялся над таким про-

чтением, оборвав рассуждение о коллежских асессорах комической сентенцией: «Ученые коллежские асессоры… Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах». Кажется, Белинский так и не понял, зачем эта повесть была написана. Он вообще полагал, что «фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю»19.

Что было дальше?

Позднее реалистическая трактовка, которой так противится «Нос», была пересмотрена. В цикле статей 1891–1909 годов Василий Розанов провел, как сказали бы сегодня, полную деконструкцию гоголевской поэтики. Сложившиеся представления о Гоголе-реалисте он объявил недоразумением, а гоголевскую социальную критику — клеветой на действительность. Произведения Гоголя — кукольный театр абсурда20. Гоголь — «гений формы», содержания у него «почти нет, или — пустое, ненужное, неинтересное»21. Реалистичны у Гоголя детали, мелочи, а общая картина мира — фантасмагорична. Это не критика и даже не сатира, это карикатура. Гоголь отыскивает для воплощения самое что ни

на есть малейшее, пошлость, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие или сон, похожий на сумасшествие. Ведь «Нос» буквально глава из «Записок сумасшедшего», а «Записки сумасшедшего» — «это нить нескольких плетеных в одно «Носов»22.

Следующий шаг в осмыслении «Носа» сделали формалисты. В начале 1920-х годов Виктор Виноградов сделал для «Носа» то же, что Борис Эйхенбаум для гоголевской «Шинели»: заново открыл читателю Гоголя-абсурдиста и Гоголя-комика, который скорее конструирует речевую псевдореальность, чем изображает подлинную действительность. Виноградову принадлежит интерпретация «Носа» как «натуралистического гротеска»23, поддержанная русскими и зарубежными исследователями. Американский славист Саймон Карлинский предложил уточнение: гротеск Гоголя — не натуралистический или реалистический, а сюрреалистический, он создает абсурдный мир из трансформированных элементов повседневности. Гоголь становится одним из предтеч сюрреализма — в этой перспективе его проза оказывается ближе к Лотреамону[8] и Льюису Кэрроллу, чем к Гофману или Свифту24.

Абсурдно-фантастическому истолкованию

«Носа» противостоит сатирико-реалистическое — продукт советского официозно-марксистского гоголеведения. Советский читатель должен был усвоить, что «Нос» — это «сатирически обобщенная и острая пародия, разоблачающая общественные отношения, реакционно-бюрократический «порядок» николаевской монархии», а цель повести — «комическое разоблачение пошлой действительности»25. «Вульгарно-социологическая» критика в лице Валерьяна Переверзева[9] объясняла гоголевский комический алогизм «алогической природой» социальной среды, которую высмеивал писатель26. С Переверзевым соглашался Григорий Гуковский, который в своей поздней марксистско-гегельянской книге «Реализм Гоголя» объяснял алогизм гоголевской повести «антиразумностью изображаемой им действительности», «николаевской полицейщины и ее дикой власти»27.

Такая же двойственность характерна для разнообразных воплощений «Носа» на сцене и на экране — от эксцентрической оперы Дмитрия Шостаковича (1928) до советского телефильма 1977 года. Некоторые интерпретации остались чисто литературными. Так, повесть Гоголя послужила источником вдохновения для диссидента,

драматурга и публициста Андрея Амальрика, получившего мировую известность после выхода эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969). В 1968-м Амальрик написал «пьесу в 16 эпизодах, переделанную из повести Николая Гоголя» под заглавием «Нос! Нос? Но-с!». Она была напечатана в сборнике абсурдистских пьес Амальрика, опубликованном в 1970 году в Амстердаме. В предисловии к сборнику Амальрик указывает на свои стилистические ориентиры: Гоголь, Сухово-Кобылин, Хлебников, Хармс, Ионеско28. По мнению критика-эмигранта, в своей инсценировке «Амальрик сумел выявить захватывающий “модернизм” старого Гоголя»29. Разумеется, о постановке пьесы в СССР не шло и речи.

В 1995 году на стене дома, стоящего на пересечении Вознесенского проспекта и проспекта Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, был установлен памятник «Нос майора Ковалева», который создал писатель и художник Резо Габриадзе в соавторстве с архитектором Вячеславом Бухаевым. В сентябре 2002 года Нос, точь-в-точь как в повести, загадочным образом исчез, но год спустя был найден и водворен на место. В 2008 году во дворе филфака Санкт-Петербургского уни-

верситета был установлен еще один памятник Носу — работы Тимура Юсуфова.

Правда ли, что тема носа была больной для Гоголя?

В мае 1839 года Гоголь сделал запись в альбоме Елизаветы Чертковой. Запись эта настолько выразительна, что ее не обошел вниманием ни один носолог — от Виктора Виноградова до Владимира Набокова:

Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки[10]. Там встретились наши носы и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле: ваш — красивый, щегольской, с весьма приятною выгнутою линиею; а мой решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки (разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком) — какая страшная разница! <…> Впрочем, несмотря на смешную физиономию, мой нос очень добрая скотина; не вздергивался никогда кверху или к потолку; не чихал в угождение начальникам и начальству — словом, несмотря на свою непомерность, вел себя очень умеренно,

за что, без сомнения, попал в либералы. Но в сторону носы! — Этот предмет очень плодовит, и о нем было довольно писано и переписано; жаловались вообще на его глупость, и что он нюхает все без разбору, и зачем он выбежал на средину лица. Говорили даже, что совсем не нужно носа, что вместо носа гораздо лучше, если бы была табакерка, а нос бы носил всякий в кармане в носовом платке. Впрочем, все это вздор и ни к чему не ведет. Я носу своему очень благодарен.

Дочь Чертковой впоследствии поясняла: «Гоголь был носаст; у красавицы Елиз. Григ. Чертковой также был большой, но изящный нос. Сопоставление этих носов давало Гоголю повод к разным шуткам»30.

Набоков в книге «Николай Гоголь» (1944) уделяет несколько красноречивых страниц гоголевскому носу и мотиву носа у Гоголя. «Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости… он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности»31. Вот как современники характеризуют гоголевский нос: «худой и искривленный» (Михаил Лонгинов), «длинный, заостренный» (Иван Тургенев)32, «сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной

птицы» (Иван Панаев)33. Сам Гоголь любил называть свой нос «птичьим» (это, помимо прочего, каламбур: гоголь — птица семейства утиных, Bucephala clangula). Впрочем, поэт и журналист Николай Берг делает существенную оговорку: нос у Гоголя был длинен, но все же не до такой степени, «как Гоголь (одно время занимавшийся своею физиономиею) его воображал»34.



Елизавета Черткова{6}

Набоков справедливо замечает, что «нос лейтмотивом проходит через его [Гоголя] сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. <…> Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются»35. В повести «Ночь перед Рождеством» в одном из развернутых сравнений мелькает фигура «цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву» — прообраз цирюльника Ивана Яковлевича из «Носа». В «Невском проспекте» пьяный сапожник Гофман собирается отрезать нос пьяному жестянщику Шиллеру, который заявляет: «Я не хочу, мне не нужен нос!» — и требует: «Режь мне нос! Вот мой нос!» (имена героев издевательски отсылают к актуальной для Гоголя немецкой литературной традиции). В «Записках сумасшедшего» заглавный герой полагает, что на луне «люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы».

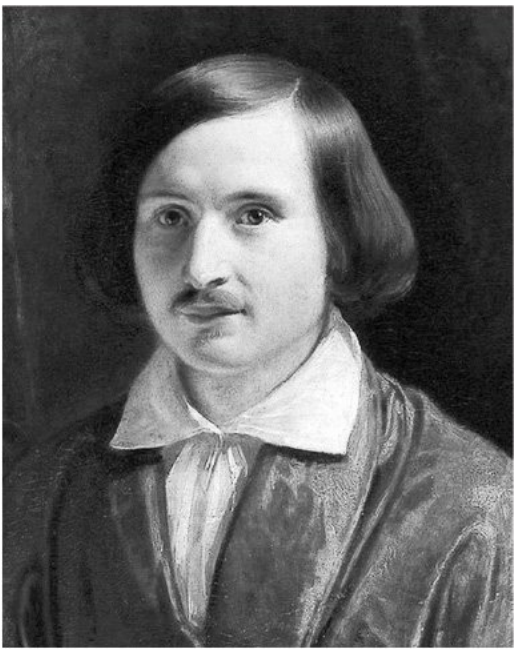
Над пристрастием Гоголя к носам издевался Осип Сенковский в рецензии на «Мертвые души»36:

Скажите, по милости… отчего нос играет здесь такую бессменную роль? Вся ваша поэма вертит-

ся на одних носах! — Оттого, — отвечаю я как глубокомысленный комментатор поэмы, — что нос едва ли не первый источник «высокого, восторженного, лирического смеху». — Я, однако ж, не вижу в нем ничего смешного, — возражаете вы мне на это. — Вы не видите!.. Но мы видим, — возражаю я обратно. — Согласитесь, что у человека этот треугольный кусок мяса, который торчит в центре его лица, удивительно, восторженно, лирически смешон. И у нас это уже доказано, что без носа нельзя сочинить ничего истинно забавного.

У Гоголя много разнообразных идиоматических выражений со словом «нос» и связанных с ним образов37: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас чорт водит за нос» («Тарас Бульба», первая редакция); «Чтобы я позволила всякой мерзавке дуться передо мною и подымать и без того курносый нос свой!»; «…распустит по городу такую чепуху, что мне никуды нельзя будет носа показать» (драматический «Отрывок»). Нередки у Гоголя характерологические гротескные носы: человек «с широким носом и огромною на нем шишкою» («Сорочинская ярмарка», черновая редакция), «баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом» («Ночь перед Рождеством»). Главным

недостатком Агафьи Тихоновны в «Женитьбе» оказывается длинный нос (эта тема особенно педалирована в первой редакции комедии). Тот же недостаток дамы обнаруживают у Чичикова: «Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него… самый неприятный нос».



Фёдор Моллер. Портрет Николая Гоголя. 1840-е годы{7}

Нос может метонимически замещать целого человека: «В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пеппе» («Рим»). Гротескный нос может быть комическим, а может — устрашающим: «Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его [колдуна] переменилось: нос вырос и наклонился на-сторону»; «Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами… и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула» («Страшная месть»). Такого персонажа Гоголь был способен сам сыграть на сцене. Еще в гимназии он «взялся сыграть роль дяди-старика — страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком… По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригнал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого…»38

Юрий Тынянов видел в Носе «реализованную метафору», которая встречается у Гоголя не только в художественных текстах, но и в письмах39.

В апреле 1838 года Гоголь писал из Рима своей корреспондентке Марии Балабиной: «Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны». Подобных, хотя и не всегда столь же развернутых примеров у Гоголя множество.

Может быть, Нос — это вовсе не нос? Есть ли в повести Гоголя «фрейдистский» подтекст?

«Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть “Нос” — поистине гимн этому органу, — говорит Набоков. — Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами… и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот»40. Такой фрейдист действительно существовал — это литературовед-психоаналитик Иван Ермаков, который — в полном соответствии с упрощенной версией фрейдовского психоанализа — во всех произведениях Гоголя отыскивал фаллическую символику. По Ермакову, нос в текстах Гоголя — фаллический символ, поэтому страх утраты носа

символизирует страх кастрации41. Напротив, Саймон Карлинский, автор книги «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя» (1976), не усмотрел в «Носе» никаких сексуально-психологических подтекстов, за исключением обычного для гоголевских героев активного нежелания Ковалева жениться42.

Набоков предлагал отказаться от чрезмерного психологизма и «рассматривать обонятельные склонности Гоголя — и даже его собственный нос — как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности»43. «Носологические» шутки намекают на «древнюю примету, сохранявшую популярность в XVIII и XIX веках» — «о связи величины носа с мужскими достоинствами»44. В средневековых гротескных образах нос обычно использовался как «замещение фалла»45. На русских лубочных картинках нос выступает и как замещение фаллоса, и как самостоятельный персонаж46. Отказ любомудров-славянофилов из «Московского наблюдателя» печатать повесть был, очевидно, связан именно с неприятием скабрезных ассоциаций. Другой славянофил — Константин Аксаков — писал о «Носе» в 1836 году: «В этой шутке есть свое достоинство,

но она, точно, немножко сальна»47. Непристойность связанных с носом ассоциаций обыгрывает не только Гоголь, но и его предшественник Стерн, чей Тристрам Шенди с комической важностью предупреждает читателей «носологической» главы: «Под словом нос, в продолжение всей этой длинной главы о носах и во всех частях моей книги, где только слово нос встретится, я объявляю, что под этим словом я разумею настоящий нос — ни больше, ни меньше»48.

Особую роль в создании фривольной семантической ауры повести играют использованные в ней и даже только подразумеваемые фразеологизмы, построенные на метафорическом и метонимическом употреблении слова «нос», например: не мочь показать носа («не иметь возможности показаться где-либо»), водить за нос («долгое время обманывать, вводить в заблуждение»), быть/остаться с носом («быть обманутым»), остаться без носа («потерять нос в результате заболевания сифилисом»). Параллелизм двух последних идиом обыграл Пушкин в эпиграмме (1821): «Лечись — иль быть тебе Панглосом[11], / Ты жертва вредной красоты — / И то-то, братец, будешь с носом, / Когда без носа будешь ты».

В свете этих устойчивых ассоциаций отнюдь

не безобидно звучит начало второй главы гоголевской повести: «Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!..» Ковалев пытается разъяснить Носу создавшуюся проблему: «Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. <...> ...притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница и другие... <...> Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...» Однако Нос — в лучших традициях стернианства! — отказывается понимать намеки: «Ничего решительно не понимаю, — отвечал Нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее».

И повествователь, и персонажи постоянно говорят о непристойности отсутствия носа, но никогда не называют причину прямо. Объявлять через газету об отсутствии носа — это «неприлично, неловко, нехорошо!» Частный пристав уверен, «что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые... таскаются по всяким непристойным местам».

Первая редакция «Носа» завершалась открытой экспликацией эротического подтекста: «Ей, Иван!» — «Чего изволите-с?» — «Что, не спраши-

вала ли майора Ковалева одна девчонка, такая хорошенькая собою?» — «Никак нет». «Гм!» — сказал майор Ковалев и посмотрел, улыбаясь, в зеркало». Нос так или иначе связывается с женской темой и в других произведениях Гоголя. Примечательна развернутая каламбурная метафорика в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Я признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся».

Почему коллежский асессор Ковалев называет себя майором?

«Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором». В газетной экспедиции[12] Ковалев перебирает формулировки: «Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине».

Приравнивание одного чина к другому было возможным благодаря табели о рангах — системе (буквально: «таблице») соответствий между военными, гражданскими и придворными чи-

нами, введенной в 1722 году Петром I. Табель утверждала меритократический принцип организации общества: статус человека определяется его заслугами перед империей, а не знатностью или богатством. В бюрократизированном российском государстве сущность петровской реформы выхолащивалась — система чинов и званий стремилась стать единственным регулятором отношений между людьми, в том числе за пределами службы.

Все чины были ранжированы по XIV классам (I — высший, XIV — низший). Коллежский асессор — гражданский чин VIII класса, которому соответствовал армейский чин майора. Чин этот был самым низким из привилегированных чинов. Начиная с VIII класса чиновник удостаивался специального упоминания в газетах при въезде и выезде из города. Так, в каждом номере «Московских ведомостей» печаталось «Известие о приехавших в сию Столицу и выехавших из оной осьми классов особах». До 1845 года VIII класс давал гражданским лицам право на потомственное дворянство (мы не знаем, был ли Ковалев дворянином по рождению или по выслуге). Для сравнения: герои «Записок сумасшедшего» и «Шинели» Аксентий Иванович Поприщин и Ака-

кий Акакиевич Башмачкин всего одним классом ниже Ковалева. Они титулярные советники (IX класс), и судьба их, как учат в школе, «воплощает трагедию маленького человека».

Отчего же Ковалев предпочитал именоваться майором, а не коллежским асессором? Ответ на это дает полное название петровской табели: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». Иначе говоря, при равенстве класса военный чин считался выше гражданского. Ковалев хитрил, как бы добавляя себе ползвания по сравнению с прочими коллежскими асессорами. Той же хитростью он пользовался как формой лести: «знакомого ему надворного советника» (чин VII класса) «он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних». При этом закон прямо оговаривал недопустимость такой практики: «Запрещается гражданским чиновникам именоваться военными чинами»49. Итак, перед нами прохиндей хлестаковского типа, любитель попользоваться привилегиями — как законны-

ми, так и незаконными. Еще одна говорящая подробность: Ковалев покупает «какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена». В свете этих деталей наглое самозванство Носа представляет собой гротескную проекцию мелкого самозванства Ковалева.

В тексте есть еще одна важная деталь: «Ковалев был кавказский коллежский асессор». Что это значит? По решению правительства, «для предупреждения недостатка в способных и достойных чиновниках» производство в коллежские асессоры на Кавказе, «по удаленности сих мест», проходило с послаблениями по отношению к установленному порядку — без сдачи специального экзамена и без наличия университетского образования. Выражение «ехать на Кавказ за чином коллежского асессора» неоднократно встречается в художественной и мемуарной прозе того времени. На это и намекает повествователь: «Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асес-

сорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода».

Какую карьеру успел сделать Нос?

Современники Гоголя понимали, что бежавший от Ковалева Нос щеголяет «в мундире Министерства просвещения»50: «Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника». Статский советник — чин V класса. Соответствующий ему военный чин — бригадир — был упразднен в 1799 году51. Это чин выше полковничьего (VI класс), но ниже генерал-майорского (IV класс). Начиная с V класса пожалование в соответствующий чин совершалось только «с Высочайшего разрешения», это первый из особо привилегированных классов.

Нос заявляет Ковалеву: «Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части». Сенатские и министерские должности, которые при нормальном порядке дел мог занять коллежский асессор, — это младший секретарь (в Сенате) или младший столоначальник (в департаментах министерств). Нос в департаменте

министерства юстиции был бы вице-директором, а в Сенате — чиновником за обер-прокурорским столом. Однако он трудится «по ученой части» — значит, он мог быть ректором университета или помощником попечителя учебного округа52. Ковалев же, судя по всему, высшего образования не имел. И чин его был существенно ниже, чем у Носа.

Согласно Григорию Гуковскому, «в этом-то и заключается конфликт повести: борьба происходит между человеком в чине коллежского асессора и носом в чине статского советника. Нос на три чина старше человека. Это определяет его победу, его неуязвимость, его превосходство над человеком. И это — совершенно естественно, нормально в обществе, где вообще чин важнее всего. Иной вопрос — что такое общество все в целом устроено противоестественно, ненормально. Об этом-то и говорит своему читателю Гоголь»53. Система важнее, чем составляющие ее винтики. Вне системы они — ничто. Как только выясняется, что у Носа чужой паспорт, — он мгновенно перестает быть «господином» и опять становится просто «носом».

Отношения между Ковалевым и Носом выстраиваются в социально-психологическом поле,

которое сам Гоголь в «Театральном разъезде» окрестил «электричеством чина»: «Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию». Именно чин становится поводом для зазнайства, и не у одного Ковалева. Разные малоприятные персонажи в текстах Гоголя то и дело поднимают (задирают) нос только потому, что они чином выше окружающих. В предисловии ко второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» пасечник Рудый Панько жалуется: «Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх». Такого же рода персонаж фигурирует в повести «Майская ночь, или Утопленница»: «Что он думает… что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял!» В ранней редакции «Женитьбы» тетка невесты сетует: «Дворянин перед черным народом дерет только нос, а перед своим чуть немного чином повыше, так покланивается, что инда шея…» (то есть «что даже шея свернется»). В ранней редакции первого тома «Мертвых душ» мелькает «новоиспеченный государственный человек», ко-

торый «сидит павлином», «поднявши кверху нос и лысину». Ковалев непомерно задирал нос, так что нос забыл свое место. Может быть, не так уж неправ был одиозный советский литературовед, лауреат Сталинской премии Владимир Ермилов со своей упрощающей формулировкой: «Ковалев слишком высоко задирал нос — вот он у него и слетел!»54 «Мне кажется… вы должны знать свое место», — говорит Носу его бывший владелец. Если Нос — гипертрофированная проекция Ковалева, то эти же слова могут быть обращены к самому майору.

Как «Нос» связан с религией?

Лингвист и культуролог Борис Успенский обнаружил, что «сюжетомотивирующим» фактором в окончательной редакции повести становится время. Нос исчезает с лица майора в день православного Благовещения (празднуется 25 марта по старому стилю) и появляется вновь на следующий день (7 апреля) после католического Благовещения (6 апреля)55. По народным поверьям, характерным для «районов межконфессионального пограничья» (какова хорошо знакомая Гоголю Украина), весь этот период, отделяющий одноименные православные и католические праздники, считается «нечистым»:

в это время может происходить всякая чертовщина. Нелепые события происходят в течение 13 дней (несчастливое число). Ковалев встречает Нос в парадном мундире в Казанском соборе на праздничной службе. В ранних редакциях действие еще не было приурочено к Благовещению, однако Гоголь настаивал на том, что персонажи должны встретиться именно в церкви. «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно его перевести в католическую», — писал он Михаилу Погодину 18 марта 1835 года. Тем не менее в первых изданиях (1836 и 1842 года) упоминание богослужения было исключено и вся сцена перенесена в Гостиный Двор.

Благовещение обычно приходится на дни Великого поста, когда мясо запрещено к употреблению, поэтому нос в хлебе неуместен вдвойне: как говорит Иван Яковлевич, «хлеб — дело печеное» (его есть можно), «а нос совсем не то»56. В контексте религиозной символики повести мотив хлеба может иметь дополнительное значение. По предположению филолога Михаила Вайскопфа57, манипуляции брадобрея с хлебом и носом могут быть прочитаны как скрытая пародия на приготовление к евхаристии — проскомидию,

впоследствии подробно описанную Гоголем в «Рассуждении о Божественной литургии»: «Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать тело Христово, а потом пресуществиться в него». Иван Яковлевич «для приличия надел сверх рубашки фрак», подобно тому, как священник надевает облачение. Супруга Ивана Яковлевича вынула «из печи только что испеченные хлебы» «и бросила один хлеб на стол», наподобие того, как «иерей берет из [жертвенника] одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым». Затем священник берет «нож, которым должен изъять» часть хлеба, имеющий «вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте тело Спасителя… и приподъемлет потом копьем вырезанную средину хлеба». Иван Яковлевич, «разрезавши хлеб на две половины… поглядел в середину… и вытащил — нос». Наконец, цирюльник бросает нос в воду — а диакон «наконец вливает вина и воды в чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея». «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее

произошло, решительно ничего неизвестно», — завершается первая глава повести, подобно тому, как проскомидия «совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа».

Однако есть и существенное различие. Священник перед литургией «должен еще с вечера трезвиться телом и духом», а цирюльник накануне был настолько пьян, что с утра даже не помнит, как возвратился домой. Таким образом, весь сюжет повести можно рассматривать как кощунственную травестию евангельского сюжета от Благовещения до Вознесения58. Недаром в центре событий оказывается ненужный вроде бы персонаж — «цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте».

В один ряд с «Носом» можно поставить демонологические произведения периода гоголевского религиозного кризиса («Вий», «Невский проспект») и кощунственные насмешки над евхаристией в письме к Александру Данилевскому от 28 сентября 1838 года:

Вообрази, что по всей дороге, по всем городам храмы бедные, богослужение тоже, жрецы невежи и неопрятны… а о вкусе и благоухании жертв нечего и говорить… Так что, признаюсь, поневоле

находят вольнодумные и богоотступные мысли, и чувствую, что ежеминутно слабеют мои религиозные правила и вера в истинную религию, так что, если бы только нашлась другая с искусными жрецами и особенно жертвами, например, чай или шеколад, то прощай последняя набожность.

Такие же колебания испытывал злосчастный Ковалев: в церкви он «чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться», зато его Нос молился «с выражением величайшей набожности».

Подспудное кощунство «Носа» проливает свет еще на одну деталь. Нос пропал у майора в пятницу («в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел»), а пятница — несчастливый день, поскольку именно на него приходятся события, составляющие Страсти Христовы. На этом фоне крайне двусмысленно звучит восклицание Ковалева, осознавшего весь ужас своего положения: «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие?» Оно звучит как перифраз возгласа распятого Иисуса: «Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставилъ?» (в Синодальном переводе: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»)59.

Почему рассказчик как бы обрывает повесть

на полуслове и сам ставит написанное в ней под сомнение?

В финале первой полной редакции повести все произошедшее трактовалось как страшное сновидение: «Впрочем, все это, что ни описано здесь, виделось майору во сне». Более того, трудно отделаться от мысли, что «нос» каламбурно связан со «сном», поскольку образует с ним палиндром: «нос» — «сон». Однако в позднейших редакциях исходная мотивировка абсурдных событий — алогизм сновидения — если не снята, то завуалирована. Или, по точной характеристике Виноградова, «убрана, как леса художественной постройки»60. Таким образом, внезапный обрыв повествования можно при желании трактовать как пробуждение ото сна.

Возможно и другое объяснение. Две «сюжетные плоскости» или «художественных пространства», в которых существует Нос в одноименной повести, принципиально несовместимы61. По ходу дела нос то остается частью человеческого лица, то, сбежав, превращается в «целого» человека, у которого есть собственное лицо (он его, впрочем, прячет)62. Рассказчик бессилен объяснить эти трансформации «части вместо целого» (pars pro toto) в «целое вместо части» (totum pro parte)

и обратно. Алогизм в «Носе» не только прием сюжетосложения — он вообще присущ всему описываемому миру. Мир гоголевского Петербурга — это мир, поставленный с ног на голову, и правит в нем черт: «…казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе». Так что рассказ об этом мире можно начать и оборвать в любой момент, как завещал великий Стерн.

Какова была судьба «Носа» в театре и кино?

В 1928 году Дмитрий Шостакович написал оперу «Нос». Основным автором либретто был сам композитор, а сцена пробуждения Ковалева принадлежит Евгению Замятину. Остальные замятинские сцены Шостакович забраковал и пригласил дописывать либретто менее известных литераторов, Георгия Ионина и Александра Прейса. Образцом интерпретации Гоголя стал для Шостаковича, по его собственным словам, «Ревизор» в постановке Всеволода Мейерхольда 1926 года. Шостакович рассчитывал, что и его опера будет поставлена Мейерхольдом, но обстоятельства сложились иначе. Стилевая доминанта «Носа» — гротеск и эксцентрика: первый антракт написан для одних ударных, вокальные партии

выходят за пределы нормальных регистров, в состав оркестра входят балалайки, домры и разные перкуссионные инструменты. Опера шла в 1930–1931 годах, но под давлением недоброжелательной критики была снята с репертуара и вернулась к зрителям и слушателям лишь несколько десятилетий спустя.

В 1963 году в Париже книжный график и аниматор Александр Алексеев снял мультипликационный фильм «Нос», применив изобретенную им еще в 1930-е годы оригинальную технику анимации — игольчатый экран[13]. До этого Алексеев дважды использовал эту технику в кинематографе — в коротком анимационном фильме «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского по повести Гоголя и в анимационном прологе к «Процессу» Орсона Уэллса по роману Кафки. Сам выбор произведений ясно характеризует стилевые предпочтения мультипликатора. Еще один мультфильм по «Носу» снял в 1966 году американский художник и режиссер Мордикай Герстейн. Действие он перенес в Питтсбург, а текст озвучил известный в те годы трагикомик Теодор Готтлиб, выступавший под сценическим псевдонимом Брат Теодор. Наконец, в 1997 году на студии братьев Наумовых «МультИздат» был

снят мультфильм «Нос майора». В его сюжете режиссер Михаил Лисовой соединил мотивы, восходящие к произведениям Гоголя, Хлебникова и Хармса.

В 1965 году телеспектакль «Нос» поставила Ленинградская студия телевидения (режиссер Александр Белинский). В 1970-е годы по повести Гоголя было снято два телефильма. В 1971 году в Польше вышел фильм Станислава Ленартовича со Здзиславом Маклякевичем в роли майора Ковалева. В 1977 году на советские телеэкраны вышел фильм Ролана Быкова, в котором он исполнил все главные роли — Ковалева, Носа и цирюльника Ивана Яковлевича. А за несколько лет до этого в пародийном фильме Вуди Аллена «Sleeper» («Спящий» или «Замороженный»), где действие происходит в антиутопическом будущем, проскальзывает неожиданная реминисценция из Гоголя: диктатор, от которого остался только нос, продолжает существовать в этом качестве почти целый год. Правящая элита пытается клонировать диктатора из клеток носа, но его уничтожает главный герой, замороженный в 1973 году и проснувшийся 200 лет спустя63.



Нос

I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про себя супруга, — останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал

соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился на лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось, — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага… и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «куда идешь?», или: «кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий, то есть он был черный,

но весь в коричневато-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему было охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволька отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел… Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр…» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры… Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном

коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». — По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских поветовых землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у от-

правляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых, и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам: каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы по-

смотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава Богу, никого нет, — произнес он, — теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул: «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос

действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выра-

жением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь… — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться, — милостивый государь…

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь… мне кажется… вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же?.. — в церкви. Согласитесь…

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить… Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я… впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить… притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева статская советница и другие… Вы посудите са-

ми… я не знаю, милостивый государь… (При этом майор Ковалев пожал плечами)… Извините… если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести… вы сами можете понять…

— Ничего решительно не понимаю, — отвечал нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь… — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши… Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно… Или вы хотите… Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовав-

шемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос… Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою,

тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма: дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особенно ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему…

— А, черт возьми! — сказал Ковалев. — Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он,

зашедши в сени.

— Никак нет, — отвечал привратник, — только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да, — прибавил привратник, — оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что

он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего Боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев. — А, здравствуйте!

— Мое почтение, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать…

— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою; сколько букв в принесенной записке. По сто-

ронам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился Бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить… Мне очень нужно, — сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки!

Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. — Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу… — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша… Вдруг узнают, Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня… нос…

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть… вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь… Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах, — сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то… И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как Бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак. — Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник, — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться…

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос), или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штабофицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в

креслах, — но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам, — сказал он с сердцем, — разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал наш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику

до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он после боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого

коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не до́лжно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить…» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в

потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом не вероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится, может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не

пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; — но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что

никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. — Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен,

принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев, — Точно, он! Откушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом… Очень большая поднялась дороговизна на все припасы… У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких…

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального

несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев. — Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не

поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. — Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место,

где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал,

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев. — Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша… хоть после теперешнего по-

ступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость, — произнес Ковалев умоляющим голосом, — нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держаться; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уже будьте уверены, сколько дозволят мои средства…

— Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже

сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев, — лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь, — я хотел быть вам полезным … Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня

Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выигрываете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой.

Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть.

Ваш покорный слуга

Платон Ковалев».

«Милостивый государь

Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености,

но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ; то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет, — говорил Ковалев, прочитавши письмо. — Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. — Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. — Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространялись по всей столице, и, как видите, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город

опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера, и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как

можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хосрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою.

Вслед за этим… но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, — сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли

за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, сударь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову за другую сторону и посмотрел на него сбоку. — Вона! эк его, право, как подумаешь», — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную

часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил

он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями; стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour[14], — изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку; неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделе-

ние носа и появленье его в равных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.

Портрет

Предисловие «Полки»

Повесть о природе искусства и его отношениях с жизнью. Фантастическая подоплека «Портрета» — отголосок ранней гоголевской прозы, размышления о таланте и светском успехе — мостик к его позднему морализму.

Александр Марков



О чем эта повесть?

О продаже души дьяволу: добровольной в случае художника Чарткова из первой части, невольной — в случае безымянного коломенского иконописца во второй. Шире — о том, почему жизнь оказывается сильнее искусства: хотя искусство хочет преобразить жизнь, художники из поколения в поколение терпят неудачу. Наконец, совсем широко — о соотношении условностей в искусстве и катастрофичности жизни. Катарсис — далеко не безобидная вещь, и Гоголь сопоставляет его в повести с ожиданием апокалипсиса. Идеал искусства осуществим только в неопределенной вечности или после длительного покаяния, а художественная форма беззащитна перед силами зла.

Когда она написана?

Первые наброски повести относятся к 1833 году, таким образом, работа над ней заняла не менее года-полутора — это обычно для Гоголя, который надолго забрасывал свои черновики и потом неожиданно к ним возвращался. Сборник Гоголя «Арабески» с первоначальной редакцией повести вышел в январе 1835 года. В конце 1841-го и начале 1842 года Гоголь существенно перерабатывает

повесть: на смену романтическому саспенсу приходит живой разговор, на смену завороженности — ирония, хотя общие черты остаются такими же. Литературовед и публицист Павел Анненков, помогавший Гоголю в Риме[15] готовить чистовой текст «Мертвых душ», вспоминал об обстоятельствах создания второй редакции: она писалась в перерывах между работой над поэмой, одновременно с пьесой из жизни запорожских казаков. По свидетельству Анненкова, прежняя веселость «Вечеров» и «Тараса Бульбы» сменилась в набросках пьесы злым и почти черным юмором.

Как она написана?

Повесть состоит из двух частей, вторая — приквел первой.

Подобно многим романтическим повестям, «Портрет» соединяет фантастику, исповедальность и бытовую иронию. Внутренний диалог героя, исповедь другого героя, краткие экскурсы в историю искусства — все это также принадлежит романтической традиции. Отсюда же — сновидение как кульминация действия, «психический автоматизм» (неспособность героя понять, сознательно или неосознанно он совершает какие-то действия: скажем, Чартков вспоминает, закрывал ли он портрет простыней), пародирование

старых риторических жанров вроде жанра похвальной речи, энкомия (самореклама Чарткова). Все это не было совсем в новинку читателям модных повестей, даже если они еще не вполне привыкли к романтической эстетике.

Некоторые мотивы повести были знакомы публике еще по ранней прозе Гоголя: дьявольское золото («Вечер накануне Ивана Купала»), неосторожное любопытство как корень всего последующего зла (Ганна, Панночка и другие женские образы — этот мотив восходит, вероятно, к знакомым Гоголю с детства толкованиям любопытства Евы как главной причины грехопадения), вера в действительные отношения с нечистой силой и возможность портретирования нечистой силы (финал «Ночи перед Рождеством» — и вторая часть «Портрета»). Поэтому интерес читателя подогревался знанием прежних повестей Гоголя.

Что на нее повлияло?

Сюжет продажи души дьяволу возник еще до «Фауста» Гете и до ренессансных сказаний о Фаусте: он был распространен в средневековых житиях и позднейших новеллах. Самый известный вариант — история завистника Феофила, спасенного Богородицей после покаяния. Менее

известные: например, повесть о монахе, который хотел тягаться с великими святыми, но не выдержал первых же искушений, стал насильником и убийцей и в конце концов городским палачом. Тема преступной зависти одного мастера к другому могла перейти к Гоголю из «Моцарта и Сальери» Пушкина, а тема неправедного богатства — из его же «Скупого рыцаря». Также Гоголю были известны, хотя бы в изложениях, немецкие романы о художнике, такие как цикл Гете о Вильгельме Мейстере, «Странствия Франца Штернбальда» (1798) Людвига Тика или повести Гофмана.

Представление о том, что только живописец может передать глубину страданий человека, отстаивали авторы готических романов — от Анны Радклиф до Чарльза Роберта Мэтьюрина. Культ итальянской живописи как единственной способной навечно запечатлеть чувства создала Жермена де Сталь в романе «Коринна, или Италия» (1807). Может быть, на повесть Гоголя косвенно повлиял создатель американского готического рассказа Вашингтон Ирвинг, которого ценил Пушкин, также считавший, что лишь живописец как тайнозритель способен проникнуть в духовный мир. Наконец, живопись стажировавшегося в Италии художника, которой завидует

Чартков, в первой редакции описанная лишь общими риторическими восторгами, во второй редакции напоминает искусство Александра Иванова, с которым Гоголь подружился в Риме в 1838 году.

Отдельные мотивы «Портрета» восходят еще к Просвещению: например, противопоставление «холодной» живописи, выполненной на заказ, и настоящей, созданной по велению сердца, есть уже в «Салонах» Дени Дидро: французский просветитель объявлял иносказательную мифологизирующую живопись «холодной». Скорее всего, Гоголь воспринял эти мотивы из художественной критики и журналистики своего времени, дополнив их уже пушкинским пониманием вдохновения как особого трепета, преображающего человека изнутри.



Рембрандт Харменс ван Рейн. Притча о неразумном богаче. 1627 год{8}

Как она была опубликована?

Первую редакцию повести 26-летний Гоголь опубликовал в 1835 году в сборнике «Арабески». Гоголь тогда не собирался быть только писателем: в «Арабески», кроме повестей, вошли его статьи по искусствоведению, истории, филологии и педагогике. Вторая редакция «Портрета» была опубликована в журнале «Современник» в 1842 году. По воспоминаниям Анненкова, Гоголь видел в журнале, основанном Пушкиным,

святыню и своей повестью отдавал дань памяти великому поэту.

Как ее приняли?

В сноске, сопровождающей публикацию второй редакции повести, Гоголь говорит о «справедливых замечаниях», которые он получил после выхода книги «Арабески». Вообще, Гоголь любил объявлять все замечания по своему поводу справедливыми, что потом подвело его в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», где эта скромность была воспринята публикой как уступка литературным противникам и политическим реакционерам.

Здесь Гоголь имеет в виду, конечно же, рецензию Осипа Сенковского (Барона Брамбеуса[16]) на «Арабески». Сенковский, укоряя Гоголя за публикацию как будто бы посмертных черновиков в самом начале писательского пути, порицает напыщенные выражения вроде «ужасным смехом адского наслаждения» или сложные обороты вроде «часть исполненного звуков и священных тайн его же внутреннего мира». Во второй редакции Гоголь убрал все, что раздражало критика, зато добавил для своей защиты ссылки на литературные авторитеты. Зачем описывать патетическими выражениями демонизм Чартко-

ва-разрушителя, если можно сказать: «Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин». Заметим, что выражение «внутренний мир», невзирая на мнение Сенковского, прочно вошло в русский язык.


АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. ГОГОЛЯ.

—

—

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ВДОВЫ П.ПЮШАРЪ СЪ СЫНОМЪ.

1835.

Титульный лист сборника «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя», в котором впервые была опубликована повесть «Портрет». Санкт-Петер-

бург, 1835 год{9}

По иронии судьбы едва ли не сильнее всех бранил первую редакцию повести Белинский, создавший потом культ Гоголя-реалиста. Белинский полностью отверг художественное значение второй части повести, увидев в ней интеллектуальную выдумку, в которой нет ни капли юмора или живого участия. Не удовлетворился Белинский и второй редакцией, продолжая считать «Портрет» едва ли не худшим произведением Гоголя: «Первая часть повести, за немногими исключениями, стала несравненно лучше… но вся остальная половина повести невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со стороны подробностей». Белинский, чья рецензия в «Отечественных записках» вышла без подписи, заявил, что Гоголь справился бы со своей задачей, если бы повесть была полностью реалистической, исследовала без фантастики и мистики, как именно жадность губит таланты. Белинский обратил против Гоголя его же пафос: если Гоголь так против холодных аллегорий, зачем он создает свою аллегорию — оживающий портрет как указание на пагубность копирования с натуры в коммерческих целях. Вероятно, для Белинского само обсуждение предназначения художника,

особенно в напыщенных выражениях, было не интересно; при этом блистательного гротеска в «Портрете» мы можем найти не меньше, чем в одобренном Пушкиным и Белинским «Носе».



Иннокентий Анненский. 1880-е годы. Анненский — один из немногих критиков начала XX века, обращавших внимание на повесть «Портрет»: он писал о ней в статье «Проблема гоголевского юмора»{10}

Русская демократическая критика вслед за Белинским выказывала полное равнодушие к «Портрету». Единственным исключением стало принадлежащее уже XX веку большое эссе Владимира Короленко «Трагедия великого юмориста» (1909), где писатель разбирает «Портрет» как документ, считая, что вторая редакция гораздо хуже первой в художественном смысле, но важна как объяснение перехода Гоголя на реакционные политические позиции: Гоголь испугался собственного мрачного реализма «Мертвых душ» и решил превознести примиренческое и идеализирующее искусство (хотя на самом деле этот сюжет возник уже в редакции 1835 года, когда работа над «Мертвыми душами» только начиналась). Интересно, что Дмитрий Мережковский в работе «Гоголь и черт» (1906) также объяснил «Портрет» социологически: как и Короленко, он считал, что Гоголь испугался собственного реализма, неприглядных сторон российской жизни, выставленных в «Ревизоре». Хронологически это тоже неверно: замысел «Портрета» (1833) предшествует замыслу «Ревизора» (1835).

Следует заметить, что и для символистов, и для реалистов начала века Гоголь был создателем наиболее универсального образа России, хотя

некоторые критики, например Василий Розанов, его за это порицали. «Портрет», посвященный частному быту художника, оставался на периферии внимания и тех, и других. Можно назвать только два исключения: доклад Валерия Брюсова «Испепеленный» (1909, ко дню рождения писателя), с обращением к текстологии гоголевской повести, и статья Иннокентия Анненского «Проблема гоголевского юмора». Анненский увидел особый юмор в финале второй части, когда картина исчезает бесследно:

Этим как бы еще более подчеркивается символический смысл картины — можно уничтожить полотно, но как уничтожить слово, если оно остается в памяти или предано тиснению? Как уничтожить из души его яркий след, если душа взволнована им, очарована или соблазнена? <…> Живописец «Портрета»… всеми силами искал уничтожить следы своего малеванья, и это было даже его загробной волей, а между тем портрет, может быть, гуляет среди нас и теперь, тогда как церковная стена с малеваньем Оксаниного мужа[17], поди, давно уже заросла бурьяном и крапивой после приключения с злополучным Хомой Брутом.

Итак, Анненский увидел в Гоголе исследовате-

ля не живописи, а литературы, ее всевластия над словом и непредсказуемого развития.

Что было дальше?

Гоголя самого настигло возмездие портрета: Михаил Погодин без спросу опубликовал в своем журнале «Москвитянин» плохую литографию с медальона кисти Иванова, на котором, как счел писатель, он был выставлен в слишком непарадном виде. Гоголь был возмущен и качеством литографии, и тем, что интимный предмет, экспромт, предназначенный только для самых близких друзей, оказался выставлен на всеобщее обозрение. До конца жизни Гоголя мучила мысль, что из-за случайного портрета публика якобы всегда будет видеть в нем неопрятного и торопливого человека. «Авторская исповедь» и «Выбранные места из переписки с друзьями» с выпадами против неназванного Погодина и восхвалениями подражающей Рафаэлю живописи и качественных гравюр работы академика живописи Федора Иордана, работавшего медленно и вдумчиво, — только часть этой борьбы.

После смерти Гоголя, несмотря на позицию Белинского, «Портрет» был включен в канон законченных гоголевских произведений петербургского периода: он постоянно переиздавался в

составе петербургских повестей (заметим, Гоголь сам свои повести этим названием не объединял, оно придумано издателями в коммерческих целях), малых и больших собраний сочинений. Отдельным изданием «Портрет» стали часто издавать только в начале XX века, с приложением гравированного портрета автора (как в издании Флорентия Павленкова[18]). До этого, по выводам итальянского слависта Дамиано Ребеккини, издатели считали, что петербургские повести Гоголя, в отличие от мира Диканьки и Миргорода, не будут понятны широкому читателю и потому не заслуживают отдельных дешевых изданий.

В русской литературе мысль о портрете как идеале оказалась сильнее, чем представление о портрете как об инструменте демонической власти над людьми. Влияние Гоголя очевидно в незаконченной последней повести Михаила Лермонтова «Штосс», где тоже появляется демонический старик с портрета. Следующая возможная параллель — изображение мертвого Христа кисти Гольбейна (1521–1522) в романе Федора Достоевского «Идиот» (1868): картина, от которой «вера может пропасть», по словам князя Мышкина. Но здесь описывается соблазн от неприглядного, «безобразного» изображения,

тогда как Гоголь говорил, наоборот, об идеально полном воплощении естественного мира. Обобщающего произведения о магической силе портрета, как «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, русская литература не дала. Наверное, оптика Гоголя, видевшего в живописи застывшие — а значит, завороженные — вещи, бытовую магию, а не просто быт, была уникальной в истории русской литературы.

Но в XX веке самая общая проблема гоголевской повести — беззащитность художественной формы перед силами зла — встала еще острее; можно вспомнить строку Мандельштама: «Но музыка от смерти не спасет». Идея избыточности культуры и тяжести художественных форм, не дающих развиваться современности, которую можно тоже вычитать в «иконоборчестве» Чарткова, была важна для футуризма и экспрессионизма: мы встречаем иконоборческое отношение к старой живописи у Маяковского («Время / пулям / по стенке музеев тенькать»), Ходасевича («Тяжелеют веки / Пред вереницею Мадонн»), Мандельштама («С иконоборческой доски / Стереть дневные впечатленья»). Шире этот сюжет навязчивого или неуместного присутствия старых форм в современности обсуждается в повести «Клуб

убийц букв» Сигизмунда Кржижановского[19] и романе «Козлиная песнь» Константина Вагинова. Сюжет конфликта «культуры» как системы правил и «жизни» — непредсказуемой стихии переживаний — в качестве философского вопроса обсуждался в немецкой «философии жизни», созданной Фридрихом Ницше; эхо этой дискуссии мы встречаем в последнем крупном произведении о продаже художником своей души дьяволу — романе «Доктор Фаустус» Томаса Манна.

Почему Гоголь рассказывает о двух художниках, а не об одном?

Двухчастная композиция — одно из изобретений романтической эпохи (в широком смысле, включая и веймарский классицизм), и она может встречаться как в больших произведениях (две части «Фауста» Гете), так и в малых лирических формах. Образцовый пример двухчастной композиции, в которой вторая часть — воспоминание о цепочке предшествующих событий, без которых не поймешь настоящее, — стихотворение Пушкина «К морю», с думой о Наполеоне и Байроне во второй части. Такая композиция позволяет мотивировать чувства первой части не только мимолетными впечатлениями, но и более глубокими мировоззренческими установками.

Так поступает и Гоголь: без второй части мы бы имели в «Портрете» анекдот, а не притчу. Замечательно, что Гоголь считал, что пушкинская «Сцена из Фауста» не уступает всему «Фаусту» Гете: ведь именно в ней дана в начале психологическая мотивировка действий Фауста (скука), а в конце — историческая (открытие Нового света), и принцип двухчастности — психология в начале, предыстория в конце — здесь идеально соблюден.



Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. Около 1565 года{11}

С какими художниками и почему сравниваются герои повести?

«Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами». Легко увидеть влияние художественного вкуса Пушкина на вкусы Гоголя: отсюда представление о Рафаэле как недосягаемом идеале духовной глубины или оценка в духе «фламандской школы пестрый сор». Гвидо — это живописец XVII века Гвидо Рени, которого в то время ценили за экспрессию, яркую передачу эмоций, своеобразные спецэффекты. Корреджо эпоха Пушкина и Гоголя ставила в один ряд с Рафаэлем и Микеланджело, как делает это иконописец во второй части: он «постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre[20], несмотря на все притязанья художника на историческую живопись». Культ Гвидо Рени и Корреджо был важен в эпоху, когда не было кинематографа, телевидения и графических романов: яркие и живые мифологические сцены заменяли нынешнюю

индустрию визуальных развлечений. Заметим, что разборчивость в живописи для Гоголя тождественна умению видеть исторический смысл произведений, то есть их повествовательное содержание и возможность влиять на реальность. Таким образом, портрет ростовщика — образцовая «историческая живопись».

Чартков — это говорящая фамилия?

Фамилия Чартков напоминает сразу о черте, о чертах рисунка (способность схватить характер на карандашном портрете несколькими линиями очень ценилась и классицистами, и романтиками), но также о Чарском у Пушкина и Чацком у Грибоедова. С Чарским «Египетских ночей» Пушкина гоголевский герой схож изначально пренебрежительным отношением к ремеслу и к публике: если Чарский Пушкина называет вдохновение «дрянью», то и Чартков возвращается во второй редакции в мастерскую, «уставленную всяким художеским хламом». Но дальше Чартков идет собственным путем уступки соблазнам. Судя по всему, Гоголь знал многие произведения Пушкина еще в рукописи или из чтения поэта; но подсказал ли Пушкин Гоголю или Гоголь Пушкину такую фамилию и имеет ли она отношение к Чарскому, Чацкому или

реальному Чаадаеву — мы наверняка сказать не можем. Скорее всего, для Гоголя при выборе имени героя важнее всего было созвучие с именем нечистой силы, чертовщинка в самозваном виртуозе.

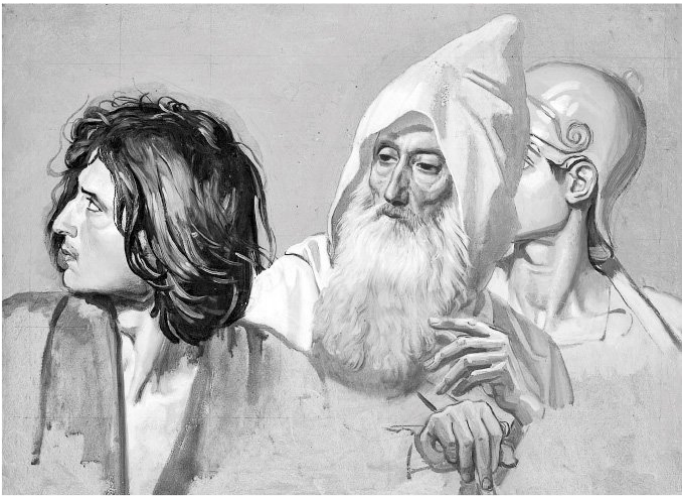
Почему выставленные на продажу картины в начале повести названы диковинками?

Это слово означало тогда не столько «экзотику», сколько «сенсацию», нечто, привлекающее всеобщее внимание. Гоголь начинает описание с исследования эффекта толпы: ажиотаж приводит к тому, что сами произведения начинают выглядеть более любопытными, чем казались раньше. Можно считать, что Гоголь первым в русской литературе описал особенности массового или медийного восприятия, требующего от искусства и быть идеальным подражанием уже известным образцам, и нести в себе самобытность и «самородное дарование». Одно не противоречит другому; напротив, вместе то и другое способствует ажиотажу вокруг картин.

Почему первая клиентка Чарткова узнаёт свою дочь в изображении Психеи?

Всем помнится приход светских дам, матери и дочери, в мастерскую к Чарткову — его успех

начинается со встречи с крайне сатирически описанными персонажами. Психея, аллегория души, — один из самых узнаваемых скульптурных образов для людей, воспитанных на классицизме, но, кроме того, это один из образов, открывших пушкинскую эпоху русской культуры. В 1809 году балет «Амур и Психея» стал «хитом» в Санкт-Петербурге, как ни один балет в России прежде, он прославил балерину Марию Данилову, но из-за ошибки в управлении театральными машинами Данилова получила травму, открылась чахотка, и вскоре она умерла, хотя сам император вызвал к ней лучших врачей. Судьба Даниловой легла печальной тенью на всю эту эпоху, и поэтому Психея — это еще один повод указать на трагические судьбы искусства и обличить светское общество. Очевиден горький юмор Гоголя: бездушные ко всему, кроме светских удовольствий, женщины узнают себя в образе Души. Еще один подтекст: в некоторых версиях мифа Психея — невольная самозванка, люди ее принимают сначала за Афродиту; и в повести мы встречаем самозваного гения Чарткова и самозваных высокомерных красавиц.



Этюд к картине Александра Иванова «Явление Христа народу». 1837–1857 годы. Голову брюнета (слева) Иванов рисовал с Гоголя{12}

Почему иконописец во второй части подражает итальянской живописи и пишет портреты?

Наша обычная ассоциация иконописи с византийским и древнерусским стилем восходит к русскому модернизму: легализации старообрядчества в 1905 году, выставкам древнерусской иконописи и общественному вниманию ко всему допетровскому (чему посвящена книга Ирины

Шевеленко «Модернизм как архаизм»). Для Гоголя, как и для Достоевского, существовала только иконопись академической школы, равняющаяся на Рафаэля (хотя самого Рафаэля никак нельзя назвать академическим художником, учитывая неожиданные и совсем не риторические решения его сюжетов). Писание портретов входило в обязанности иконописца еще до установления академической нормы, такие портреты назывались словом «парсуна» — от латинского persona, то есть лицо, отдельный человек. Гоголь, выводящий иконописца, который для заработка пишет портреты, указывает и на сравнительную невостребованность иконописцев (заказы они получали нерегулярно, большая часть церквей и домов довольствовалась старыми потемневшими иконами), и на то, что заказчики весьма часто просили иконописцев придать святым выражение лиц современников (важный мотив и в русской литературе, вплоть до «Неупиваемой чаши» Ивана Шмелева).

Что общего у итальянского стажера во второй редакции повести с художником Александром Ивановым?

В первой редакции идеальный художник просто полностью захвачен страстью к искусству. Во

второй редакции он получает индивидуальные черты, которые все современники замечали в Александре Иванове: безмерную любовь к Риму, добровольное отшельничество, затруднения в общении с людьми и нелюбовь к светским встречам (Гоголь тоже этого не любил, хотя, в отличие от Иванова, обожал щегольские наряды), безмолвное длительное созерцание произведений искусства, нежелание ввязываться в какие-либо споры. Иванов для Гоголя был духовным человеком, монахом в миру, каким писатель сам стремился быть. Но постепенно между ними возникло некоторое расхождение, когда Гоголь вновь решил учиться у Жуковского. В «Портрете» Гоголь сравнивает пересматривание Рафаэля с перечитыванием «Илиады», думая о том, что Иванов соединил изящество кисти Рафаэля с эпическим размахом. Но в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он называет «Илиаду» лишь эпизодом в сравнении с «Одиссеей», которую переводил Жуковский, и тем самым как бы говорит о том, что отныне будет озабочен больше делами литературы, а не живописи, дружа с Жуковским больше, чем с Ивановым. Такому повороту и обязано хозяйственное, почти домостроевское настроение последней книги Гоголя.

Какие намеки на современных писателей есть в повести Гоголя?

Эти намеки во второй редакции — часть литературной политики Гоголя, они сатирически направлены в том числе против Сенковского, опубликовавшего в своем журнале «Библиотека для чтения» разгромную рецензию на сборник «Арабески». Античная поэтесса Коринна, в образе которой хотели предстать на портретах некоторые дамы — заказчицы Чарткова, — это публичный образ мадам де Сталь и название ее романа, важного и для Гоголя, и для Сенковского. Рядом стоящий образец, Ундина, — отсылка к одноименной поэме Жуковского, которая печаталась у Сенковского в «Библиотеке для чтения» одновременно с рецензией. Сатирически представляя эти женские идеалы, Гоголь заявляет, что одного сотрудничества с Жуковским или подражания де Сталь недостаточно, чтобы стать хорошим писателем, и что притязания Сенковского на величие столь же пародийны, сколь и притязания заказчиц.

Почему действие второй части происходит в Коломне?

Петербургская Коломна как место, где тихая неспешная жизнь была, как сейчас говорят,

«уходящей натурой», — главная тема шуточной поэмы Пушкина «Домик в Коломне»: повествователь Пушкина прямо заявляет о своей ненависти к недавно построенным зданиям и любви к старым домам и авантюрам в стилистике екатерининского времени. Для него в этих авантюрах, маскарадах, переодеваниях — истоки поэтических сюжетов. Пушкин не хочет видеть в них ничего демонического, они важны как повод для литературного эксперимента. Гоголь во второй редакции прибавляет, что ростовщик — типаж екатерининского времени, тем самым он может встать в один ряд, например, с графиней из «Пиковой дамы» Пушкина. Но для Гоголя невозможна позиция «Домика в Коломне», исследующего литературные и сюжетные условности, меланхолическое остроумие розыгрышей. Для Гоголя есть безусловные вещи, есть опасные вещи, действие дьявола в мире, от которого невозможно скрыться. Поэтому вместо литературной игры перед нами богословский трактат: отказ от условностей в живописи, натурализм буквально вызывает дьявола.

Почему у ростовщика азиатская внешность?

Во времена Гоголя к Азии относили и Кавказ, и иногда все турецкие земли. Ростовщик поэтому

мог быть, скажем, греком или армянином, вряд ли он был китайцем. Мы бы назвали его левантийцем, жителем средиземноморского Востока. Это условность, основанная на стереотипном представлении о том, в каких краях больше всего ростовщиков. Может быть, на мысль Гоголя повлияли портреты Рембрандта (воспетые Пушкиным в «Домике в Коломне»): головные уборы некоторых персонажей писатель мог воспринять как варианты чалмы.

Как Гоголь понимает «гений» и «талант»?

В первой редакции эти слова употреблены как синонимы: «Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений». Во второй редакции талант — навык достоверно изображать предмет («блестящие таланты»), эстетическая способность, тогда как гений — общественно значимая способность: гении определяют политику и культуру целых эпох. Чартков хвастается во второй редакции, что он гений, потому что умеет создавать картины не просто качественно, но и быстро, — тем самым превращая общественную миссию гения с его, как считали романтики, молниеносным влиянием на публику в коммерческий фокус.

Что такое природа в повести Гоголя?

В первой редакции Чартков, купив портрет, сразу же видит в нем недолжную игру, некий «беспорядок природы» или даже «сумасшествие природы». Во второй редакции портрет пугает, но не беспорядком природы, Чартков готов уже к тому, что природа бывает разной и подражание ей — тоже разным: «И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего». Под «верностью природе» понимается здесь передача как внешних черт, так и характера, проникновение в душу изображаемого. Здесь Гоголь совпадает с Пушкиным и Баратынским, считавшими вдохновенное восприятие природы, быстрое схватывание природных впечатлений и подражание природе только предварительным, но не достаточным условием для создания художественного целого («Его капустою раздует, / А лавром он не расцветет»).

Итак, в первой редакции Гоголь еще классицист, для него природа — мир должного, долга, и любое нарушение надлежащего порядка уже незаконно. Во второй редакции он романтик, для него в природе может быть не только порядок, но

и хаос, и даже на картине может быть хаос, лишь бы вспыхнула особая искра свыше, преображающая реальность. С переходом от классицизма к романтизму меняется и характерология: в первой редакции безумие Чарткова объясняется в рамках нормативной психологии, его яростью, а во второй редакции — уже чрезвычайно, психопатологически, как небывалая одержимость.

Почему в финале повести портрет исчезает?

Если не принимать объяснения Иннокентия Анненского, увидевшего в этом исчезновении торжество литературы над живописью, способность литературы влиять даже на людей, равнодушных к живописи, и сохранение литературных свидетельств об утраченной живописи в истории культуры, то можно вспомнить и о роли пропажи в ранней прозе Гоголя («Пропавшая грамота»). Только пропажа и позволяет сюжету развернуться как общезначимому, а не как анекдотическому, не как локальной истории, но как скандалу, привлекающему всеобщее читательское внимание. Здесь пропажа происходит в самом конце повествования — после постановки «Ревизора» Гоголь был убежден, что его произведения публика должна осмыслять не только во время, но и после прочтения, чтобы социальная

жизнь действительно изменилась. Гоголь был огорчен, что «Ревизор» не преобразил публику, не изменил общество, и счел, что это из-за того, что все слишком смеялись во время представления. А должен действовать не вкус, а послевкусие, именно оно меняет социальное поведение людей; поэтому и здесь Гоголь решил, что память об исчезнувшем портрете будет действовать сильнее, позволив читателям сосредоточиться не на поворотах сюжета, а на послевкусии, после того как главный предмет просто исчез.

Почему в повести невозможно защититься от темных сил?

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь пишет, что «диавол выступил уже без маски в мир». От дьявола можно было защититься, пока он был притворщиком, пакостником, выступал в маске шута, а теперь, когда он стал обывателем и зрителем, ему сопротивляться нельзя. Как только дьявол становится зрителем, как в «Вие», он становится всемогущим. Таким шутом без маски, зрителем дел человеческих, усредненным обывателем, похожим на всех, нейтральным во всем, вполне был Чичиков; Николай Бердяев в статье «Духи русской революции» даже увидел в Чичикове и Хлестакове первых «бесов»,

конформистов, карьеристов и беспощадных авантюристов революционной эпохи. Таким образом, Гоголь предвосхитил дальнейший антимещанский пафос русской литературы, от Константина Леонтьева («Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения») до Владимира Набокова («Облако, озеро, башня»): готовность видеть в посредственных людях, любителях зрелищ и готового культурного продукта, главный инструмент нечистой силы.



Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хосрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах.

Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность

для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановъ Лазаревичей*, на *объедал и обпивал*, на *Фому и Ерему*; это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственности карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели

человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи, еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!. — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. — Прикажите связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовав-

шиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом, в больших, когда-то великолепных рамах, но на

которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что же, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный

бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, ко-

гда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть, и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем… какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться

более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, и прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за

кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было

купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с

деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омокнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым

великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура: отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной

ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собою бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое

было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; и между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть и почувствовал,

что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и,

не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться: грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на

ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались

руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара, или домового, бред ли горячки, или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в

себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло: неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть,

как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он верно остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: 1000 червонных. Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне, или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как

цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который

держал в руке, — у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу, он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал,

мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриванием картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того… игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себя засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный, — а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика,

— уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой. С кого вы писали?

— А это с одного… — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: 1000 червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

— Слава Богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все

еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз: они уже не казались ему страшными; но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золо-

тые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в… и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже

на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, чем было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял непо-

движно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился ни весть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием «*О необыкновенных талантах Чарткова*»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы

прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил

фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.

. — Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, теперь покамест я отложил… Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон, наконец, вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — C'est charmant! Lise, Lise, venez ici![21] Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нарисована! C'est charmant![22] А вон на другом холсте женщина, моющая лицо, — quelle jolie figure![23] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской ру-

башке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор… Так, шалил… этюды…

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам,

начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела… на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств…

простоты, простоты чтобы было больше.

(Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми).

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи

у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей недели обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с

ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла

его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть

его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать

он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe![24] Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он

произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись; причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse![25] Но какая работа! Это Корредж! Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно,

черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психей.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уж чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать реши-

тельно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И несмотря на все это требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом

повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс, гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровож-

дать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо

и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уже ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его гла-

за! Il y a quelque chose d’extraordinaire dans toute sa figure![26]»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные

и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович».

Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет

только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных

небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли, или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих

прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет того, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в

окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все

дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного…» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела по-

вязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все

портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец, — не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти

вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы …»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загромождён другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый

силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивал-

ся в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда

несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми

они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязаны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено,

и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотали о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в

широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною. — Так он начал. — Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти

на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на 5 копеек кофею да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна; редко по-

кажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в

старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственнней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать,

что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь Генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нашей старухи

до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего

истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласно с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на-беду случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался

подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все

производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды, — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что ни-

когда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандинсон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но сва-

дьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движенье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в

глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу.

Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только

одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись», постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre[27], несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покры-

тый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет, все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье,

до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет дальше.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может

быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — все это произвело на него странное впечатление. Окна как нарочно были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила!» — повторил он про себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов: они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно,

усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя было и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить

портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дня узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привле-

кать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположенье. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, по-

разившее всех. «В картине художника точно есть много таланта. — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь?

— сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради Бога! — сказал приятель, удержав его, — отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство

должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила …

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не

умею сказать, сны ли это, или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатленье на

моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там, строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской

жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в

лице Пречистой Матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоею кистью и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренно-

го, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже

нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты…

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни, —

сказал он. — Доныне я не могу понять, что́ был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном гря-

зи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставанье. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его…

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе…

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть

еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шинель

Предисловие «Полки»

История о мелком чиновнике, который потерял свою единственную радость и превратился в привидение. Повесть с фантастическим финалом, из которой вышел русский реализм.

Денис Ларионов



О чем эта повесть?

Скромный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин живет в морозном Петербурге и терпит издевательства сослуживцев. Единственная его отрада — мечта о новой шинели: он предвкушает обновку, живет в мыслях о ней и наконец тратит на шинель почти все свои деньги. Но его радость оказывается недолгой. Однажды «какие-то люди с усами» снимают с Башмачкина на улице новую шинель, а крупный полицейский чиновник («значительное лицо») отказывается помочь бедняге и грубо его отчитывает. Башмачкин не выдерживает удара и умирает, а после смерти становится привидением, преследующим зажиточных петербуржцев и срывающим с них шинели и шубы.

Последняя из повестей Николая Гоголя, «Шинель», оказала большое влияние на писателей-современников, стоявших у истоков натуральной школы, но особенно сильно — на литературу XX века, для которой унижение человека обществом стало одной из центральных тем.

Когда она написана?

Гоголь начал работать над повестью в 1839 году и возвращался к ней на протяжении двух

следующих лет. Основная часть повести написана в Риме — как и поэма «Мертвые души», над которой Гоголь работал параллельно. В 1841 году повесть была закончена.



Борис Кустодиев. Акакий Акакиевич возвращается с вечера. Иллюстрация к повести. 1909 год{13}

Как она написана?

«Шинель» — длинный монолог повествователя, сквозь который иногда звучит бормотанье главного героя Акакия Акакиевича, речь сотрудников петербургских ведомств, голоса городского дна, анекдоты, легенды и т.д. Автор эталонного

литературоведческого анализа «Шинели» Борис Эйхенбаум показал, что своеобразный мир Башмачкина создается при помощи нескольких конкретных стилистических приемов: многочисленных словесных игр (каламбуров), выразительно артикулированной «декламационно-патетической» речи рассказчика, жанровых контрастов между драмой и комедией, фантастикой и реализмом. Чтобы описать язык «Шинели», приближенный к разговорной речи, Эйхенбаум предложил термин «сказ».

При этом сюжет повести сведен к бытовому инциденту, по сути анекдоту, которыми Гоголь очень интересовался: Борис Эйхенбаум считал, что «сюжет у него всегда бедный, скорее — нет никакого сюжета, а взято только какое-нибудь одно комическое… положение». По сути, главное в «Шинели» — это неповторимые речевые жесты рассказчика, а не стройность и увлекательность самого рассказа.



Адольф Шарлемань. Рисунок формы работников Высочайшего двора. 1855 год{14}

Что на нее повлияло?

Близко общавшийся с Гоголем в 1830-е годы Павел Анненков вспоминал, как однажды писателю рассказали анекдот о рядовом чиновнике, страстном охотнике, который долго и трудно копил на лепажевское[28] ружье и потерял его на первой же охоте. После своей утраты он заболел, и только участие родственников и друзей, купивших ему новое ружье, смогло вернуть его к нормальной жизни. По словам Анненкова, «все смеялись анекдоту, имевшему в основании

истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его “Шинель” и она заронилась в душу его в тот же самый вечер».

В более широком смысле «Шинель» — ироническое переосмысление литературы романтизма: Гоголь утрирует важный для романтизма мотив призрака, доводя его до абсурда и разбавляя гипертрофированно подробными деталями, которые на первый взгляд не имеют никакого значения. Вот характерный пример:

…Один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «ничего»,

— да и поворотил тот же час назад.

Если у писателей-романтиков и близких им авторов (Алексея Погорельского, Александра Вельтмана, Владимира Одоевского, самого Гоголя как автора «Вия») призраки были проводниками в мир чудесного и таинственного, то у Гоголя в «Шинели» Акакий Акакиевич (и он ли это вообще?) даже после смерти продолжает пребывать в абсурдном и холодном мире Петербурга.

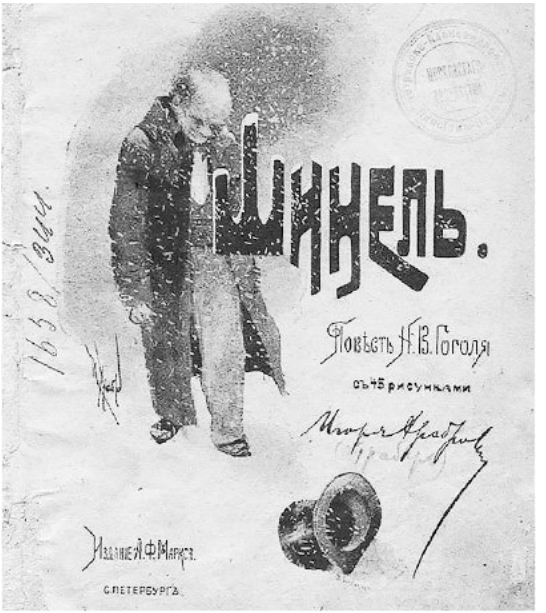
Как она была опубликована?

В отличие от других повестей петербургского цикла, публиковавшихся с 1835 года, «Шинель» была опубликована не в сборнике (как «Невский проспект») и не в периодическом издании (как «Нос»), а сразу в третьем томе собрания сочинений Гоголя, выпущенном издательством А. Бородина и Ко в 1842 году, в один год с «Мертвыми душами».

Как ее приняли?

Современники из демократического лагеря (например, Александр Герцен) прочитали повесть как «страшное» реалистическое произведение, герой которого — «маленький человек» Акакий Башмачкин, сломавшийся под грузом нищеты, бессмысленной работы и социального давления.

А Николай Чернышевский, называвший «гоголевским» целый период в русской литературе (1820–1840-е), относился к повести амбивалентно: одновременно хвалил автора за сострадание к «маленькому человеку» и упрекал в том, что он поощряет в читателе самолюбование на фоне очевидно ущербного героя (и все это в одной статье — «Не начало ли перемены?»). При этом прихотливая авторская интонация повести практически не рассматривалась, а фантастические и даже мистические детали воспринимались как эпатаж, делающий проблему социальной уязвимости и неприкаянности «маленького человека» более явной. А такой апологет творчества Гоголя, как Виссарион Белинский, повестью не заинтересовался и отозвался о ней довольно формально: «…Новое произведение, отличающееся глубиной идеи и чувства, зрелостию художественного резца».



«Шинель». Издательство Адольфа Маркса, Санкт-Петербург, 1895 год. Иллюстрации Игоря Грабаря{15}

Критики-славянофилы (Юрий Самарин, Степан Шевырев, Алексей Хомяков), напротив, с одобрением подчеркивали стилистическое новаторство повести и отсутствие прямых социально-политических выводов.

Что было дальше?

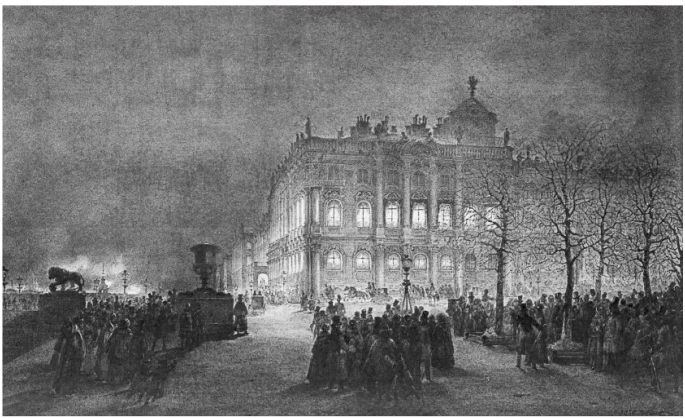
Публикация «Шинели» совпала с публикацией поэмы «Мертвые души», которой, конечно, досталось больше заинтересованного внимания читателей и критиков. Новую жизнь повесть обрела в XX веке. «Шинель» (и творчество Гоголя в целом) повлияла как на литературу русского (в диапазоне от Андрея Белого до Юрия Мамлеева), так и мирового (Франц Кафка, Элиас Канетти) модернизма. Классик японской литературы Акутагава Рюноскэ даже написал своеобразный ремейк гоголевской повести — рассказ «Бататовая каша» (1916).

В 1918 году вышла знаменитая статья Бориса Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» — один из манифестов формального метода в литературоведении. Во многом анализ Эйхенбаума актуален и по сей день. В более конвенциональном ключе рассматривает «Шинель» Владимир Набоков в своих лекциях по русской литературе и небольшой монографии «Николай Гоголь». Споря с теми, кто находил у Гоголя обличение общества (Герцен, Чернышевский), он утверждает, что «провалы и зияния в ткани гоголевского стиля соответствуют разрывам в ткани самой жизни. Что-то очень дурно устроено в мире, а люди —

просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время как абсурдно-логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями — вот истинная “идея” повести»1.

В 1926 году режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг сняли по мотивам «Шинели» фильм — он стал одним из вершинных достижений советского кинематографа 1920-х. В 1951 году актер-мим Марсель Марсо создает пластическую композицию «Шинель», которая делает его суперзвездой пантомимы. В 1954 году английский режиссер Майкл Маккарти снял по мотивам гоголевской повести фильм «Пробуждение», пригласив на главную роль великого американского комика Бастера Китона. Повесть послужила источником вдохновения и для итальянского неореализма: в 1952 году выходит «Шинель» Альберто Латтуады, действие которой происходит в Северной Италии. В 1959 году в Советском Союзе вышла экранизация «Шинели», где роль Башмачкина играл Ролан Быков. В 1981 году режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн начинает работу над мультфильмом «Шинель», который не закончен и по сей день, — к 2004 году, по словам режиссера, было готово 25 минут

экранного времени. За последние двадцать лет в России по повести Гоголя были выпущены два спектакля: первый — самый необычный — поставил в «Современнике» Валерий Фокин, где роль Башмачкина играла Марина Неелова, а в 2008 году вышел спектакль Владимира Мирзоева с Евгением Стычкиным в главной роли.



Василий Садовников. Вид Зимнего дворца ночью. 1856 год{16}

«Шинель» — это фантастика или все-таки реализм?

Первоначально Гоголь хотел написать фантастический рассказ о «чиновнике, крадущем

шинели» (именно так называлась «Шинель» в первом черновом наброске). Но за два года работы фантастический сюжет обрастал многочисленными деталями из жизни мелкого чиновничества, а также гротескными и порой саркастическими описаниями быта и нравов Петербурга 1820–1830-х годов. Когда повесть была закончена, стало очевидно, что ее сюжет и композиция балансируют между двумя замыслами, взаимно противоречащими и дополняющими друг друга в одно и то же время. Первый замысел — фантастический, основанный на городских легендах и слухах, второй — «психологически мотивированный», с «правильным» — нефантастическим — ходом действия»2, представляющий «суть современного… общественного уклада вообще»3. Подобный подход (Григорий Гуковский назвал его реалистической фантастикой) позволяет свободно включать в произведение фантастические мотивы. Они проявляются в гиперболизированных описаниях города или интерьеров («Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. <…> Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни… <…> Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг

него») или в грезах, страхах, галлюцинациях персонажа:

Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство».

Почему Гоголь выбрал именно шинель (а не какой-нибудь другой предмет)?

В художественном мире Гоголя вещи всегда играли важную роль: от ружья, из-за которого нелепо поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, до шкатулки Чичикова, пред-

ставляющей собой как бы модель его внутреннего мира. В повести центральный вещный образ — шинель — балансирует между вполне утилитарным предметом и символической «вечной идеей». С одной стороны, шинель — это осязаемая вещь, необходимая Башмачкину для вполне конкретных нужд: с ее помощью он спасается от «врага всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того», то есть от жестокого петербургского мороза. Кроме того, новая и недешевая для Башмачкина шинель должна поднять его акции в глазах сослуживцев — которые, впрочем, более всего заинтересованы в том, чтобы поскорее «вспрыснуть» покупку, чем доводят Акакия Акакиевича до исступления.

В то же время шинель — это почти фетишистская обсессия героя, которая не отпускает его ни на миг. В отличие от других гоголевских фетишей (например, носа в одноименной повести), шинель уже своей формой повторяет, так сказать, образ человека, причем человека, уже включенного в социальную иерархию (даже так несчастливо, как Башмачкин). В интерпретации же Юрия Лотмана шинель отождествляется с теплым домом, в котором полунищий Башмачкин мог бы укрыться от неуютного враждебного

мира. Кроме того, Гоголь привносит в образ шинели матримониально-эротические коннотации, называя ее «приятной подругой жизни» Башмачкина, после соединения с которой «самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился».

Башмачкин — действительно «маленький человек»?

Мотив «маленького человека» появляется в русской литературе задолго до «Шинели»: например, литературовед Антон Аникин в качестве его первоисточника называет «Бедную Лизу» Николая Карамзина. Но именно в произведениях 1820–1840-х, времени ужесточившихся нравов и законов Николаевской эпохи, задавленный социальным окружением и законами мироздания «маленький человек» становится одним из ключевых персонажей, о котором так или иначе высказываются все крупные авторы, начиная с Александра Пушкина (Самсон Вырин из повести «Станционный смотритель»).

Первым «маленького человека» как социальный тип закавычил Белинский в статье 1840 года «Горе от ума», разбирая образ городничего из гоголевского «Ревизора»: «По понятию нашего городничего, быть генералом значит видеть перед

собою унижение и подлость от низших, гнести всех негенералов своим чванством и надменностию; отнять лошадей у человека нечиновного или меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить братец и ты тому, кто говорит ему ваше превосходительство и вы, и проч. Сделайся наш городничий генералом — и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя “не имеющим чести быть знакомым с г. генералом”, не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!.. тогда из комедии могла бы выйти трагедия для “маленького человека”…»

У Белинского маленький человек упоминается пока как безымянная жертва облеченного властью самодура; в «Шинели» он появляется во плоти. Однако гоголевский Акакий Акакиевич (как и пушкинский Самсон Вырин) совсем не сводится к своему социальному измерению, важному для демократической критики; для Гоголя гораздо большее значение имеет экзистенциально-религиозный подтекст «малости», на который нам намекает имя персонажа. Акакий Акакиевич не просто затюканный обществом невротик, но своеобразный религиозный аскет, практически

не участвующий в делах мира и сохраняющий свою малость перед божественным взором. Думается, для Гоголя, в конце 1830-х — начале 1840-х годов переживающего тяжелый экзистенциальный кризис, такая интерпретация мотива «маленького человека» была очень важна.

В последующие годы (вплоть до начала XX века) «маленький человек» воспринимался преимущественно как социальный тип, описание жизни которого должно повлиять на положение таких людей в обществе. Лучше всего это выразил Николай Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?»: он сетует, что Гоголь создал слишком жалостливый портрет Акакия Акакиевича, которому можно лишь посочувствовать, но никак нельзя вдохновиться его социальным темпераментом и использовать в политической деятельности. Этот «недостаток» гоголевской повести, по мнению Чернышевского, исправляют авторы, знакомые с тонкостями народной жизни не понаслышке: например, Николай Успенский (а также, добавим, его двоюродный брат Глеб Успенский, авторы натуральной школы в 1840-е годы), показывающий своих героев не с лучшей стороны, обнажает унизительные социальные условия, в которых они живут.

Почему у героя «Шинели» такое странное имя?

Имена в произведениях Гоголя всегда «семантически значительны»4 и, как правило, представляют собой соединение несоединимых слов, взятых из откровенно несовместимых контекстов. Например, он часто сталкивает античные имена с «говорящими» русскими или украинскими фамилиями, или наоборот (самые яркие примеры — Хома Брут из повести «Вий» и дети помещика Манилова Фемистоклюс и Алкид из поэмы «Мертвые души»).

Имя для Башмачкина его мать выбирала по святцам из целого списка имен, напоминающих об Античности и раннем христианстве и при этом комично звучащих для русского уха: Моккий, Соссий, Хоздазат, Павсикахий, — эти имена ее не устроили.

«Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие все имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий».

В конце концов ребенка просто называют в честь отца. Но имя Акакий естественно встра-

ивается в тот же ряд. Невольно вызывающее скатологические ассоциации, оно переводится как «кроткий, не делающий зла» и при этом снижается забавной фамилией Башмачкин, которая «когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла от башмака, ничего этого не известно». В этой фамилии есть едва уловимая неестественность: по правилам русской ономастики фамилии с окончанием на «-ин» не образуются от существительных второго склонения (таких, как «башмак» или «башмачок»). Очевидно, что соединение имени и фамилии героя создает комический эффект, в свете которого и воспринимается печальная судьба Акакия Акакиевича.

Может быть, Башмачкин чем-то болен?

В самом начале повести Акакий Акакиевич описан так: «…низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным…». В общем, перед нами неопрятный пожилой человек с ослабленным иммунитетом и не особенно внимательный к своему здоровью. На это указывает и его быстрая смерть из-за сильной простуды на

фоне нервного потрясения: кончину Башмачкина ускорил разнос, устроенный ему крупным чиновником («значительным лицом») в полицейском ведомстве.

Возможно, здоровье Акакия Акакиевича было подорвано каким-то психическим расстройством депрессивного спектра (по мнению Михаила Эпштейна — социальной фобией5), возникшим в результате понимания предопределенности своей судьбы: «Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник». Жизненный мир Башмачкина чрезвычайно ограничен, а сам он подавлен, боится всего на свете, не способен общаться с людьми, а в моменты сильного волнения даже с трудом складывает отдельные слова во фразы («А я вот, того, Петрович… шинель-то, сукно… вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того…»). Единственное исключение — обращенная к сослуживцам фраза: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Она лишний раз указывает на беззащитность и ранимость Башмачкина, но это не столько черты его характера, сколько симпто-

мы, с которыми он уже свыкся.

Почему Петербург в «Шинели» — такой мрачный город?

Гоголя связывали с Петербургом и его историей достаточно сложные отношения притяжения и отталкивания, которые отразились и на изображении петербургского пространства в его текстах. В «Шинели» социально-экономический и, так сказать, метафизический образ города доведен до наибольшей выразительности.

«Петербургские» повести были написаны во время правления Николая I, который после подавления восстания декабристов ввел жесткую цензуру, фактически подчинив публичную сферу полицейскому ведомству и себе лично. В «Шинели» возникает противоречивый образ Петербурга — современного, но в то же время закрытого и основанного на бюрократической иерархии города:

Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились все живее, населенней и сильней освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, кра-

сиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники…

Если в ранних повестях Гоголя, например в сборнике «Миргород», возникают идиллические, комические, теплые (хоть и не лишенные абсурда) картины сел, хуторов и частных владений, то мир «пустынного» Петербурга холоден и враждебен всему человеческому, жители его разобщены и прячутся от холода, одиночества и насмешек в своих съемных квартирах-норах или, как Акакий Акакиевич, в шинели. Единственное, что, по мнению Юрия Лотмана, их может объединять, — это «причастность к бумагам, делопроизводству, бюрократии». В этом смысле Башмачкин — типичный гоголевский петербуржец, помешанный на документах, которые он вновь и вновь истово переписывает, не стремясь хоть немного выйти за рамки своей повседневной работы или задуматься о повышении по службе: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь», — говорит он, когда «один директор, будучи добрый человек» предложил Акакию Акакиевичу более сложную работу, чтобы увеличить ему жалованье.

Как «Шинель» связана с другими гоголевскими повестями 1830-х?

Гоголь часто писал циклами. Так называемые

петербургские повести не исключение, но в цикл их объединил не Гоголь — это было сделано уже после смерти писателя его исследователями.

По мнению филолога Владимира Марковича, их объединяют «и сквозные темы, и ассоциативные переклички, и общность возникающих в них проблем, и родство стилистических принципов, и единство сложного, но при всем том, несомненно, целостного авторского взгляда». В «Петербургских повестях» самый европейский город Российской империи чуть ли не впервые становится полноценным героем произведения, раскрывает противоречивые, непарадные стороны своего характера (то же самое происходит в пушкинской поэме «Медный всадник»; недаром лингвист Владимир Топоров считал Пушкина и Гоголя основателями традиции «петербургского текста»).

«Петербургские повести» объединяет не просто место действия. У их героев схожие амплуа и мировоззрения, в своей жизни они сталкиваются с пограничными ситуациями, которые могут быть связаны с безответной любовью («Невский проспект») или трагикомическим ощущением утраты («Нос», «Шинель»). Столкнувшись с кризисом, почти все герои петербургских повестей

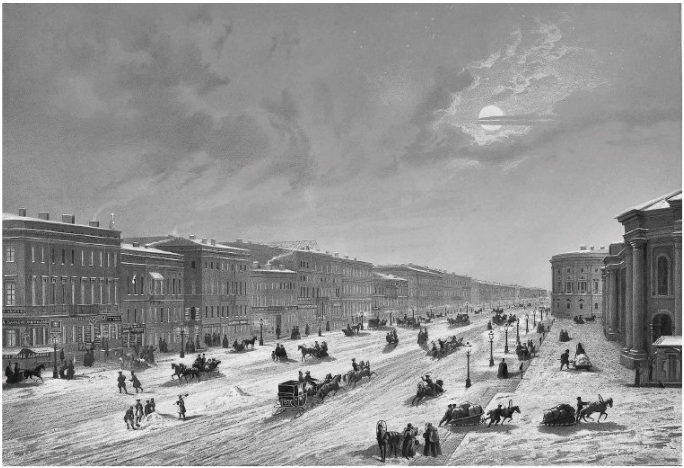
делают неадекватный выбор или терпят сокрушительное фиаско. От последствий краха их не спасают ни фантазия, ни воображение, которые лишь усугубляют конфликт между ранимым человеком и третирующей его социальной средой. Заостряя этот конфликт, Гоголь не оставляет камня на камне от умозрительных (романтических) представлений о человеке и обществе, показывая сложную и многоуровневую социальную жизнь Петербурга середины XIX века.

Что необычного в сцене ограбления Башмачкина?

Сцена ограбления Башмачкина — одна из самых таинственных в повести. Поздно возвращающийся с застолья, где «обмывали» его шинель, Башмачкин внезапно оказывается на загадочной площади, которая разверзается словно «море вокруг него». Несмотря на то что площадь находится в черте города, она пустынна и, кажется, вызывает у Башмачкина приступ агорафобии. Здесь-то его и подкарауливают «какие-то люди с усами»: избив Башмачкина, они отбирают у него новую шинель. На первый взгляд очевидно, что речь идет о банальных грабителях, промышляющих уличным разбоем, — такими они оказываются у современного драматурга Олега Богаева, напи-

савшего своеобразный ремейк «Шинели». Но для Гоголя все-таки важно сохранить таинственную, почти мистическую природу этого инцидента, в котором уличные грабители, сами того не ведая, становятся инструментами метафизического зла. То же самое можно сказать и про значительное лицо, и даже про жестоких коллег Башмачкина. После смерти и сам Акакий Акакиевич сделается таким инфернальным субъектом:

По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем.



Невский проспект. Гравюра Ж.Л. Жакотте и Г.Л.-П. Регаме по рисунку Иосифа Шарлеманя. 1850-е годы{17}

Почему Гоголь называет генерала «значительное лицо», а не по имени-отчеству?

Почти во всех поздних произведениях Гоголя (помимо «Шинели» можно вспомнить повесть «Нос», комедию «Ревизор» и поэму «Мертвые души») бюрократическое лицемерие и произвол приобретают гиперболизированные масштабы. Человеческие отношения в «Шинели» регулируются «китайской иерархией»6, свойственной времени Николая I, когда бюрократическая

субординация определяла практически все, а социальной иерархии был придан почти божественный статус. В «Шинели» гоголевский сарказм очевиден уже с первых слов: прежде чем рассказать о рождении, выборе имени и характере Акакия Акакиевича, повествователь долго прикидывает, как надо правильно описать место работы и сферу деятельности Башмачкина. При этом возникает картина экзистенциального отчуждения, которым пронизана жизнь всех мелких служащих: «…в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват… <…> Что же касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что прежде называют вечный титулярный советник…» Впрочем, незавидная участь Акакия Акакиевича Башмачкина, существующего на самом дне карьерной иерархии, делает его человеком, то есть ранимым и слабым существом, беззащитным перед анонимными «значительными лицами» бюрократов. Для Гоголя, который в момент написания «Шинели» все более погружался в консервативное православие, Башмачкин близок христианским святым: его жизнь характеризуют «очевидная предызбран-

ность… пути, безбрачие, отказ от жизненных благ и мирских соблазнов, исполнение черных работ, бегство от суеты, уклонение от любых возможностей возвышения, уединение, молчание, непреоборимая внутренняя сосредоточенность на своей задаче»7.

Ничего подобного нельзя сказать о генерале, значительном лице, к которому Башмачкин, на свою беду, попадает на прием после того, как у него крадут шинель. Рассказывая о значительном лице (который, по словам филолога Григория Гуковского, не более чем «пустышка, фикция, звание, за которым ничего нет»), Гоголь вновь обращается к отстраненно-саркастической интонации, описывая жизнь и мнения среднестатистического чиновника, актуальные и по сей день:

Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался лицом значительным, а до этого времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным, в сравнении с другими, еще более значительнейшими. <…> Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень

значительно в лицо тому, которому говорил.

Гуковский прямо называет значительное лицо, типичного среднего «функционера» Николаевской эпохи, убийцей Акакия Акакиевича, поскольку он не только не попытался разобраться в инциденте с шинелью, но и устроил бедному Башмачкину проработку, от которой он уже не оправился:

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. <…>

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это? понимаете ли это? Я вас спрашиваю.

Есть ли в повести Гоголя хоть что-то светлое?

Несмотря на всю мрачность «Шинели», в ней красной нитью проходит мотив доброты и участия отдельных людей. Эти примеры на общем бесчеловечном фоне кажутся даже эксцентричными. Доброта, как и власть, анонимна, но почти

незаметна и часто бесполезна, что не умаляет ее значения в повести. Так, например, «один молодой человек» прекращает общаться с унижающими Башмачкина сослуживцами, которых он прежде принял «за приличных, светских людей». В еле слышной просьбе Акакия Акакиевича («Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?») ему слышится христианское утверждение: «Я брат твой». «И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, как много в человеке бесчеловечья…» Также «один кто-то» проникается бедой Башмачкина и советует ему обратиться к значительному лицу — увы, встреча с ним стала для Акакия Акакиевича роковой. Впрочем, и сам значительное лицо, сильно напуганный призраком Башмачкина, в конце повести изменяется и становится более человечным в отношениях с родственниками и подчиненными. Можно сказать, что Акакий Акакиевич, оправдывая христианские коннотации своего имени, возвращает человечность людям-функциям, сдирая с них официозную оболочку.



Шинель

В департаменте … но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, *в одном департаменте* служил *один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на-вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо

у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником

в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил

в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожá не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или: «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю

старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие

слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу,

приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные

и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час на стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не

по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что́ задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями,

затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или

около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натоптаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка, сукно

до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как

получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в

кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакий Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, ва́рварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась,

что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, судырь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того…

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того…» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович… шинель-то, сукно… вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того… на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного…

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом наклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом,

заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки…

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае

кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного того генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того…

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от-роду, ибо отличался всегда

тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того… — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что́ вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так

этак-то! вот какое уж, точно никак неожиданное, того… этого бы никак… этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле, самом сердечном и близком.

«Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать; он теперь того… жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и

заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того…» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович, — а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще-было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно

духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: полови-

на бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся сумма более, чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скороременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз,

приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним; как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности.

Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам

Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога́; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было… трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось

выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да

и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему,

стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал-было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель

и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы, с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали

попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят

что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что́ он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели, да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт и смутно поразили слух его: беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди

комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уже давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что

давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал-было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уеди-

неннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел-было уже закричать «караул», как другой приставил ему к

самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до конца площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на вис-

ках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять— сказали опять: спит;

он пришел в одиннадцать часов —сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря́ ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели,

несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителя, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу.* Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать,

что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галстуках, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому

приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек;

но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то

чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что́ вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынеш-

него своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиарным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне…

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того… ненадежный народ.

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало-быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел,

что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь

же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что

беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естественонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как

обрушивалось на царей и повелителей мира… Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые,

лисьи, медвежьи шубы, — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергиванья шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог,

чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приморо-женный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значи-тельное лицо,* который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почув-ствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что

чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бедный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что́ он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным

экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa»[29]. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, стал в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении,

лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторил вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел,

что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма

в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за родного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за

такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Записки сумасшедшего

Предисловие «Полки»

Дневник петербургского чиновника, возомнившего себя испанским королем: множество комических сцен, переписка двух собак и финальный крик душевнобольного, оказавшегося в единственно возможном для себя социальном лифте — палате желтого дома.

Валерий Шубинский



О чем эта повесть?

Написанная от первого лица история петербургского мелкого чиновника Аксентия Ивановича Поприщина, постепенно погружающегося в безумие. Закомплексованный немолодой чиновник, влюбленный в дочь своего начальника и регулярно читающий в газетах внешнеполитические новости, начинает воображать себя испанским королем Фердинандом VIII (в действительности никогда не существовавшим) и в конце концов оказывается в лечебнице для умалишенных.

Когда она написана?

Гоголь работает над «Записками сумасшедшего» в августе–октябре 1834 года. Повесть связана с более ранними замыслами писателя (незаконченная комедия «Владимир III степени», «Записки сумасшедшего музыканта»). Толчком к написанию послужила застольная беседа с неким врачом об особенностях поведения душевнобольных.

Как она написана?

Повесть состоит из 20 фрагментов. Если в начале перед нами — теоретически — в самом деле дневниковые записи Поприщина, то ближе к концу условность этой формы становится оче-

видной: потерявший контакт с реальностью и заточенный в доме для умалишенных человек едва ли имеет возможность записывать свои мысли — скорее перед нами фиксация сбивчивого внутреннего монолога. Синтаксис повести также ближе к устной, а не к письменной речи — но это речь, на которую влияют стереотипные формулы и обороты романтической словесности.

Все записи датированы первоначально октябрем–декабрем некоего (по содержанию — 1833) года. Начиная с двенадцатого фрагмента, даты становятся абсурдными («Год 2000 апреля 43-го числа», «Мартобря 86-го числа. Между днем и ночью»). Но, судя по содержанию, запись от 86 мартобря (в которой описано саморазоблачение Поприщина в качестве испанского короля) относится к последним числам декабря, уже после Рождества (так как Поприщин более трех недель не был на службе). Действие последующих, все более эксцентричных и бессвязных, фрагментов относится, видимо, к январю– февралю 1834-го.

Разрыв между реальностью и ее отражением в сознании Поприщина постепенно возрастает, но реальность вполне реконструируема. Единственное исключение — сюжет с перепиской собачек Фидель и Меджи.

Что на нее повлияло?

В числе источников повести Гоголя в первую очередь упоминают произведения Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья» (1821) и «Житейские воззрения кота Мурра» (1818). У Гофмана граф П*** воображает себя раннехристианским святым Серапионом. Он, подобно Поприщину, целиком погружен в свой мир, для него отсутствуют пространство и время, он по-своему перетолковывает окружающий мир, общается в своем воображении с Данте и Ариосто. Переписка собак (и вообще сам образ очеловеченного животного, соединяющего в себе антропоморфные и зооморфные черты и со своей точки зрения описывающего человеческий мир) отсылает к «Житейским воззрениям кота Мурра».



Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1812–1819 годы{18}

Мотив безумия (высокого и низкого) — сквозной мотив романтической новеллы, в том числе русской. В числе таких произведений — три из четырех новелл, вошедших в книгу Антония Погорельского «Двойник, или Вечера в Малороссии» (1828), «Блаженство безумия» (1833) Николая Полевого и, наконец, незаконченный цикл Владимира Одоевского «Дом сумасшедших», фрагменты которого, написанные в начале 1830-х, вошли в его книгу «Русские ночи» (1844).

Отмечают и ироническую отсылку к «Горю от ума» Грибоедова: Поприщин неловко и без-

успешно пытается добиться расположения Софи, дочери своего начальника, в то время как сердце Софьи Фамусовой тронул близкий Поприщину по статусу (но, в отличие от него, молодой и, вероятно, внешне привлекательный) Молчалин.

Не стоит преуменьшать влияния на повесть случайных источников, в том числе описаний лечебниц и патологических случаев, широко печатавшихся в газетах, и произведений бульварно-беллетристического характера (например, повести Фаддея Булгарина «Три листка из дома сумасшедших, или Психическое исцеление неизлечимой болезни», публиковавшейся в начале 1834 года в «Северной пчеле»)1.

Как она была опубликована?

«Записки сумасшедшего» вошли в сборник «Арабески», вышедший в первой половине января 1835 года (цензурное разрешение — 10 ноября 1834-го). В этом же сборнике напечатаны «Портрет», «Невский проспект», два отрывка из незаконченного романа «Гетьман» и несколько статей Гоголя, посвященных разным вопросам — от поэзии Пушкина до преподавания географии детям.

Как ее приняли?

Анонимный рецензент «Северной пчелы» (газеты, которая упоминается в повести) отметил, что в «Записках сумасшедшего» «есть… много остроумного, смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских чиновников схвачен и набросан живо и оригинально»2. Писатель и критик Осип Сенковский, в целом положительно оценив повесть, заметил, что «Записки сумасшедшего» «были бы лучше, если бы соединялись какою-нибудь идеею»3. Более развернут и весьма доброжелателен отзыв Виссариона Белинского: «Возьмите “Записки сумасшедшего”, этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание»4.



Виссарион Белинский. Литография Петра Бореля с рисунка Кирилла Горбунова. 1843 год.

«Записки сумасшедшего» получили доброжелательный отзыв Белинског{19}

Что было дальше?

Образ героя повести — ограниченного «маленького человека», одержимого манией величия, — стал знаковым для русской культуры (сам Гоголь позднее вернется к этой теме в «Шинели»). Важное влияние имела и форма повести — фиксация заведомо субъективного и неадекватного

отражения реальности. В этом смысле диапазон текстов, на которые повлияла повесть, очень широк — от «Записок из подполья» Достоевского до «Палаты №6» Чехова.

Лев Толстой в 1883 году пишет свой вариант «Записок сумасшедшего», полемический по отношению к Гоголю: его «сумасшедший» — человек, открывший для себя христианскую истину и вступивший в противоречие с укладом общества. Непосредственной рецепцией гоголевской повести стало стихотворение Апухтина «Сумасшедший», герой которого считает себя королем некоей страны. Сюжетная канва знаменитого романса на слова Петра Вейнберга (1859) — «Он был титулярный советник, / Она генеральская дочь» — тоже косвенно отсылает к гоголевской повести. Замечают влияние «Записок сумасшедшего» на поэму Иосифа Бродского «Горчаков и Горбунов» (1965–1968).

Влияние повести распространилось за пределы России. Так, классик китайской литературы Лу Синь во многом под влиянием Гоголя написал «Дневник сумасшедшего» (1918). Наконец, отзвук «Записок сумасшедшего» слышится в «Бледном огне» (1962) Набокова, герой-рассказчик которого, по-видимому, русский эмигрант Боткин, вооб-

ражающий себя свергнутым с престола королем вымышленной страны Зембла.

Что нам известно о Поприщине?

Аксентий Иванович Поприщин — петербургский чиновник, то есть представитель весьма многочисленной и характерной социальной страты, к которой принадлежали пушкинский Евгений и герои Достоевского. Его чин (титулярный советник, IX класс, соответствует штабс-капитану) довольно скромен, но он занимает должность столоначальника, которая обычно соответствовала более высокому чину — надворного советника (чин VII класса). Другими словами, он возглавляет небольшую команду канцеляристов из 10–12 человек. Производство из титулярных советников в коллежские асессоры (VIII класс) было затруднено, так как этот чин давал потомственное дворянство. Хотя Поприщин упоминает о своем «благородном происхождении», возможно, что на самом деле он сын личного дворянина[30] или однодворца[31]. В этом случае и сам он всего лишь личный дворянин (это звание давалось первым же классным чином[32]). Для сравнения: Башмачкин также титулярный советник, Ковалев же из «Носа» — коллежский асессор.



СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА.

№ 206.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

ЗРѢЛИЩА.

НОВЫЯ КНИГИ.

НОВОСТИ ЗАГРАНИЧНЫЯ.

«Северная пчела» за 1832 год. В «Записках сумасшедшего» Поприщин читает газету «Северная пчела»{20}

Поприщин служит в департаменте, то есть в одном из управлений министерства, и завидует более выгодной (то есть коррупционной) службе «в губернии» или в судебных палатах. Он также выполняет обязанности канцелярского помощ-

ника («чинит перья») у директора департамента — «его превосходительства» — и потому вхож в его дом.

Поприщин нигде не упоминает о своем имении — такового у него, вероятно, нет; нет и крепостных. Из прислуги у него в наличии лишь наемная кухарка-«чухонка» (то есть финка, что характерно для Петербурга). Он живет, вероятно, только жалованьем, составляющим примерно 25–30 рублей в месяц серебром (около 100 рублей ассигнациями[33]). Четверть этих денег он отдает за квартиру, остального более или менее хватает на одинокое житье в столице.

Культурный багаж Поприщина весьма ограничен. Он читает «Северную пчелу», популярнейшую газету под редакцией Фаддея Булгарина и Николая Греча, ориентированную на «людей среднего состояния», ходит в театр на незамысловатые спектакли:

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно — на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают

и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят все бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители.

Образцом поэзии для него служит популярное стихотворение Николая Николева[34], которое в 1830-е годы кажется уже весьма наивным и архаичным: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал». Но Поприщин слышал имя Пушкина, который для него символизирует «поэта вообще», «главного поэта» (так же, как для Хлестакова), и потому приписывает стихотворение Николева Пушкину.

Поприщину сорок два года (возраст по тем временам более чем солидный), и, хотя он сам убеждает себя, что в этом возрасте «по-настоящему, только что начинается служба», очевидно, что на самом деле у него нет особых жизненных перспектив. Фамилия героя, произведенная от слова «поприще», оказывается, таким образом, жалкой насмешкой.

Другими словами, Поприщин — типичный «маленький человек». Обида на мир порождает у него комплекс неполноценности. Его мания величия — своего рода форма безнадежного и

жалкого бунта.

Какие политические события имеет в виду Гоголь?

«Северная пчела» имела практически монопольное (среди немногочисленных частных газет) право печатать политические известия. Поскольку какого-либо гласного обсуждения внутренних проблем страны не допускалось, это компенсировалось международными новостями, которым уделялось большое внимание. Осенью 1833 года практически в каждом номере газеты печатались новости из Испании (перепечатки из иностранной прессы).

Суть проблемы состояла в следующем.

В Испании с XVIII века действовало салическое право, не допускавшее восшествия на престол женщин и престолонаследия по женской линии. Но в 1830 году король Фердинанд VII, не имевший сыновей, издал Прагматическую санкцию, открывавшую женщинам путь к престолу. После смерти Фердинанда 29 сентября 1833 года его трехлетняя дочь донна Изабелла была провозглашена королевой; это вызвало протест дона Карлоса, брата покойного короля, и его сторонников. В результате в Испании началась гражданская война. Сторонники Изабеллы были

настроены более либерально, дон Карлос выступал под знаменами религии и абсолютизма. Опорой их были северные провинции страны, в частности Страна Басков. Англия, Франция и Португалия поддержали Изабеллу, Россия сохраняла нейтралитет. К 1839 году карлисты потерпели поражение, но в течение XIX века еще дважды инициировали долгие и кровопролитные войны, а во время Гражданской войны 1936–1939 годов активно поддерживали Франко. В настоящее время испанский престол занимает прапраправнук Изабеллы Филипп VI, а карлистским претендентом является Карлос Хавьер, герцог Пармский.

В конце повести упоминается алжирский дей. Деи — выборные (войском) и по существу полунезависимые правители Алжира, считавшиеся наместниками турецкого султана. В 1830 году дей Хусейн III был низложен вторгшимися французскими войсками, а страна оккупирована. Этот эпизод также широко обсуждался в «Северной пчеле». В посмертных публикациях «Записок сумасшедшего» слово «дей» было принято за опечатку и заменено на более привычное, но бессмысленное в данном контексте «бей». Текстологическое недоразумение иногда сохраняется по сей день. В рукописи, однако, вместо алжирского

дея стоит «французский король» (изменения были внесены по требованию цензуры). В ряде изданий XX века этот (доцензурный) вариант восстановлен. О событиях во Франции упоминается и в начале повести. Июльская революция 1830 года и последующие события во французской политике также принимались в России близко к сердцу. Поприщин считает своим (то есть Фердинанда VIII) главным врагом князя Жюля Огюста Мари Армана Полиньяка — французского премьер-министра в 1829–1830 годах, который был низложен Июльской революцией и в 1833-м находился в заключении.

Почему Поприщин воображает себя именно испанским королем?

Испания в европейской культуре с конца XVIII века выполняет роль идеальной романтической страны. Испанская экзотика (сводящаяся обычно к набору стереотипов) чем дальше, тем больше используется писателями. С Испанией связано действие как многих ключевых произведений романтизма («Мельмот Скиталец» Мэтьюрина[35], «Дон Жуан» Байрона, «Театр Клары Газуль» и «Кармен» Мериме, «Каменный гость» Пушкина, первые редакции «Демона» Лермонтова), так и опусов, принадлежащих к низовой роман-

тической культуре и пародируемых Козьмой Прутковым. Если говорить о более поздних текстах, можно вспомнить популярный роман Георга Борна[36] «Тайны Мадридского двора» (1870); любопытно, что его героиня — развратная королева Изабелла II, та самая донна Изабелла, чье восшествие на трон спровоцировало сумасшествие Поприщина.

В 1834 году мода на испанскую экзотику лишь начиналась. Но даже до человека с образовательным статусом Поприщина вполне мог дойти, скажем, романс Глинки на стихи Пушкина «Я здесь, Инезилья…», изданный вместе с нотами в 1830 году и сразу получивший популярность. Вместе с газетными известиями это могло повлиять на направление и тему его бреда.

Что означает безумие в эстетике романтизма?

Если для эпохи Просвещения утрата рассудка есть абсолютное и самоочевидное зло, то романтизм переосмысляет эту идею. Безумие, приводящее человека к конфликту с реальностью, но открывающее ему тайны, недоступные простым смертным, активизирующее его творческие потенции, — постоянный мотив романтической культуры. Цитируя Мишеля Фуко, можно сказать, что для романтиков (и постромантиков)

«нелепые образы безумия на самом деле являются элементами некоего труднодостижимого, скрытого от всех, эзотерического знания».



Легион в наступлении во время Первой карлистской войны. Литография. 1837 год{21}

Гофмановский Серапион в своем безумии сохраняет высокие стороны своей личности, он живет в возвышенных, благородных грезах. Одоевский в статье «Кто сумасшедшие?»5, которая должна была стать предисловием к циклу «Дом сумасшедших», пишет:

Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя? В самом деле, что мы замечаем в сумасшедших? В них все понятия, все чувства собираются в один фокус; у них частная сила одной какой-нибудь мысли втягивает в себя все сродственное этой мысли из всего мира, получает способность… отрывать части от предметов, тесно соединенных между собою для здорового человека, и сосредоточивать их в какой-то символ.

Героями новелл Одоевского были великие творцы — Бетховен, Пиранези[37] и другие, чьи образы соответственно перетолковывались: подчеркивалась их «странность», исключительность, разрыв с миром обыденной логики.

Очень любопытно пересекается с гоголевским сюжет повести Николая Полевого «Блаженство безумия» (1833). Герой ее, Антиох (еще более экзотическое имя, чем Аксентий), — петербургский чиновник, который влюбляется в Адельгейду, приемную дочь «шарлатана» Шреккенфельда, и погружается в мистическое безумие. Легко увидеть в «Записках сумасшедшего» пародию на выспреннюю повесть Полевого или ее травестию.

В поэзии мотив романтического безумия при-

сутствует у Пушкина («Не дай мне Бог сойти с ума…», 1833) и у Тютчева («Безумие», 1830). У Пушкина антитезой субъективного счастья безумца, открывающего для себя таинственный (и, возможно, фиктивный, несуществующий) мир «нестройных, чудных грез», становятся прозаически описанные отношения его с внешним миром. У Тютчева претензии «безумья жалкого» на знание тайн мира заведомо ложны — и сама эта ложность трагична. Таким образом, оба поэта противопоставляют свою картину мира романтическому мейнстриму. Есть версия, что стихотворение Пушкина написано под впечатлением встречи с давно уже психически нездоровым Константином Батюшковым[38]. Однако судьба Батюшкова, который для нас воплощает образ возвышенного безумца, не воспринималась таким образом современниками и вообще не стала предметом культурного переживания в свое время.

Гоголь со своей стороны тоже демифологизирует безумие. Заурядный человек, лишившись рассудка, не получает доступа к лучшему и высшему миру, но теряет свое место в мире посюстороннем. В этом смысле «Записки сумасшедшего» перекликаются с написанной в том

же году «Пиковой дамой» Пушкина. В 1833 году был написан «Медный всадник», который Гоголю, с высокой вероятностью, мог быть известен в рукописи. Евгения и Поприщина объединяет не только социальный статус и бедность, но и то, что безумие обоих связано с событиями «большой истории». Безумие Евгения — расплата за его бунт, так же как безумие Германна в «Пиковой даме» — расплата за попытку обмануть судьбу. Но в обоих случаях душевная болезнь лишена светлой, возвышенной стороны, болезнь здесь — только кара, а не дар.

Как лечили психические расстройства в первой половине XIX века?

Лечение психических расстройств в ту пору в большинстве случаев сводилось к механическому воздействию на организм, зачастую весьма жестокому. Практиковалось связывание, ограничение движения, различные «мешки» и «маски», принудительное стояние в неудобной позе, порка, кровопускания «до обморока», прижигания каленым железом, удары током и «вращательные машины», медикаменты, вызывающие тошноту.

Очень широко использовалась гидротерапия, описанная и у Гоголя: «Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду!»

Виды ее были многообразны. Иногда использовали ледяной душ с сильным напором, иногда воду капали на голову больному узкой струйкой из тонкой трубки.

Цели такого лечения были двояки: с одной стороны, пресечь физическое «буйство» больного, с другой — прервать «цепь бессвязных идей» и вернуть больного к реальности.

Поприщин в повести в повести, возможно, содержался в доллгаузе (корпусе для умалишенных) Обуховской больницы на Фонтанке (знаменитом «желтом доме») — там же, где и Германн из «Пиковой дамы». В 1821 году доллгауз выглядел так6:

В каждом коридоре находится 15 дверей, ведущих к такому же числу камер… всего для мужского и женского пола по 15 комнат. В каждой из сих комнат находится окно с железной решеткой, деревянная, прикрепленная к полу кровать и при оной ремень для привязывания беспокойных умалишенных.

<…>

В дверях сделаны маленькие отверстия, наподобие слуховых окошек, дабы можно было вечерами приглядывать за больными, запертыми в комнатах.

В нижнем этаже помещаются яростные и во-

обще неспокойные сумасшедшие, а в верхнем — тихие, задумчивые больные.

<…>

Средства для усмирения неспокойных состоят в ремне… коим связывают им ноги, и так называемых смирительных жилетах… к коим приделаны узкие рукава из парусины…



Обуховская больница. Около 1870-х годов. Поприщин в повести, возможно, содержался в корпусе для умалишенных Обуховской больницы на Фонтанке — знаменитом «желтом доме»{22}

Впрочем, в 1828 году была основана специализированная психиатрическая лечебница Всех Скорбящих на Петергофском шоссе, и больных стали переводить туда. Она находилась за

городской чертой и была окружена садом. Восторженное описание новой больницы, одежды, питания больных и даже тамошних ватерклозетов (нового изобретения!) появилось 9 февраля 1834 года в «Северной пчеле». Однако методы лечения и обращение с больными в основном оставались прежними.

С чего начинается безумие Поприщина?

В первых (октябрьских) записях Поприщин — вполне благополучный обыватель. Даже его комплекс неполноценности проявляется постепенно, исподволь. Единственное яркое проявление ненормальности — в том, что Поприщин «слышит» разговор собачек Меджи и Фидель. Между второй и третьей записью проходит больше месяца. Можно предположить, что все это время Поприщин работает в доме начальника, встречается с его дочерью, его страсть разгорается все сильнее и становится заметна окружающим. 6 ноября он изливает душу после разговора с начальником отделения. В эти же дни он начинает свое «расследование» — пытается расспрашивать Меджи, посещает дом, где живет Фидель, и крадет «связку… бумажек», которая представляется ему письмами Меджи.

Какое место занимает в повести переписка собак?

Письма Меджи к Фидели — своего рода вставная новелла. Она содержит три уровня. Первый — описание жизни молодой хозяйки и ее отца. Здесь совершенно отсутствуют следы специфической оптики Поприщина, весьма приблизительно представляющего себе великосветские «экивоки»; быт Софи и ее разговоры с камер-юнкером Тепловым описаны вполне правдоподобно; кроме того, в этой переписке фигурирует сам Поприщин, причем описание его очень далеко от его представления о себе: «Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги…»

Второй уровень — параллельная история любви Меджи к псу Трезору (пародирующая роман хозяйки):

…У камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла в

своем Теплове. Отчего она так им восхищается?

Наконец, третий уровень — «чисто собачьи» переживания, связанные главным образом с пищей и вызывающие у Поприщина особенно сильный гнев: «Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать». Создается впечатление, что собачья переписка действительно существует, что начинающееся безумие в самом деле открыло Поприщину дверь в некий тайный мир — но этот мир тривиален и комичен.

В какой момент Поприщин окончательно сходит с ума?

«Собачья переписка» разрушает иллюзии Поприщина. Он осознаёт всю ничтожность своего положения. Оскорбленное самолюбие постепенно переходит в манию величия («…Разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?»). Именно в этот момент его сознание фиксируется на «испанских делах», причем в патологическом преломлении: Поприщин почему-то зацикливается на мысли о том, что где-то существует «настоящий» испанский

король (причем это не претендент на престол дон Карлос), который скрывается до поры.



Приемный покой в Обуховской больнице. 1887 год{23}

После 8 декабря Поприщин внезапно, без всякой внешней мотивации отождествляет себя с «отсутствующим» испанским королем и выпадает из времени и естественного хода вещей. С этого момента все его поступки, естественные и логичные для него (подписывает служебную бумагу «Фердинанд VIII», превращает свой мундир в «мантию» и т.д.), становятся предельно абсурдными для окружающих. Дом умалишенных в его представлении оказывается Испанией. Всем несо-

ответствиям между своими представлениями и реальностью Поприщин дает изобретательное толкование: так, побои, которые он получает, воспринимаются им как посвящение в рыцари; затем он предполагает, что его «испытывают», и, наконец, что он «попал в руки инквизиции».

В то же время его бред время от времени (и чем дальше, тем больше) уходит в сторону и теряет логическую связь с основной навязчивой идеей:

Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне.

Слова эти представляет собой цепочку алогизмов (начать с превращения полководца Веллингтона в «знаменитого химика»). Но дальнейшие действия Поприщина, в рамках его бреда, логичны: он отправляется в «залу государственного совета» и призывает «бритых грандов» (то есть своих собратьев сумасшедших) «спасать луну».

О чем говорит финал повести?

Заключительная «запись» Поприщина резко отличается от предыдущих. Он теряет всякую самоидентификацию: он уже не чиновник и не король, а жертва, отданная во власть беспощадной стихии, олицетворенное страдание. Он как будто обретает в страдании свою исходную, первоначальную, истинно человеческую природу; он почти становится поэтом:

За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми

ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!

Однако этот прорыв к своей истинной сущности, несущий зародыш катарсиса, оказывается временным. Поприщин возвращается к своему тривиальному бреду. Повесть заканчивается нелепым сообщением про «шишку» под носом алжирского дея.

Какое место занимает повесть в творчестве Гоголя?

«Записки сумасшедшего», наряду с «Портретом», «Шинелью», «Невским проспектом» и «Носом», относят к так называемым петербургским повестям Гоголя. Герои всех этих повестей — небогатые представители столичного среднего класса (чиновники, офицеры, художники), страдающие от комплекса неполноценности, социальной неустроенности, одиночества. С каждым из героев происходят гротескные, комичные и зачастую фантастические события, порожденные причудливой стихией столичной жизни. Среди героев есть и раздавленные жизнью «маленькие люди» (Башмачкин), и самодовольные обыватели (майор Ковалев, поручик Пирогов), и романтики (Пискарёв), и честолюбцы (Чартков).

Но лишь Поприщин соединяет в себе все эти типажи.

Если говорить о конкретных перекличках, то в «Записках сумасшедшего» дважды возникает мотив «носа» («мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне» и «у алжирского дея под носом шишка»). По мнению многих исследователей, этот мотив у Гоголя имеет фаллический подтекст, причем он — сквозной для «Петербургских повестей» (кроме собственно «Носа» он присутствует также в «Невском проспекте»).

Тема безумия, кроме «Записок сумасшедшего», прямо обозначена только в незаконченной пьесе «Владимир III степени»: ее герой в финале (текст которого не дошел до нас) воображает, что сам превратился в чаемый им орден. Между прочим, судя по описанию, именно этот орден (III или II степени) получил отец Софи (это соответствует и его предполагаемому чину — действительный статский советник, и описанию ордена — лента на шее). В юности, в Нежинской гимназии, Гоголь сам симулировал сумасшествие для освобождения от занятий (позднее к такой же форме социальной самозащиты прибегал Хармс). Жизнь Гоголя при этом действительно закончилась, по мнению многих биографов, ментальным рас-

стройством.

Вообще же мотив человека, который принимает себя / выдает себя / принимается другими за кого-то более важного и значительного, — сквозной уже для всего творчества Гоголя, включая, конечно, «Ревизора».

Таким образом, «Записки сумасшедшего» в каком-то смысле — узловой гоголевский текст, в котором сходятся многие важные для писателя сюжеты и образы.



Записки сумасшедшего

Октября 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и починиваю перья для его пр-ва. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — Господи Боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, — не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в депар-

таменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему: «Это, говорит, докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко», а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на *вы*. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да кучера попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник плелся. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент

идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее. Это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин, — я подумал, — верно, это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами… Господи, Боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут: Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот

тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!» — сказал я сам себе, — да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается. — «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь, — я видел сам, что произнесла Меджи, — я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты, ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала к тебе Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно

писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я, — сказал я сам в себе, — за этой собачонкою и узнаю, что́ она и что́ такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец, к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю, — сказал я сам в себе. — Это дом Зверкова». Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо, — подумал я, — теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я был у нашего началь-

ника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка… эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже было половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета!

платье на ней было белое, как лебедь; фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа́ здесь не было?» Ах, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка!! «Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табаком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного проис-

хождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дома большею частию лежал на кровати. Потом переписывал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее пр-ва и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, — но нет, не выходила.

Ноября 6.

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: «Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я ничего не делаю», — отвечал я. «Ну размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос,

завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно: он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей. Я дворянин. Что же, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

Ноября 8.

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на

одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят все бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пиесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той… эх, канальство!.. ничего, ничего… молчание.

Ноября 9.

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частию лежал на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера, и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что́ они делают в своем кругу, — вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его п-вом, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее пр-во, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню… там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на

небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек… ай! ай! ай! ничего, ничего… молчание.

Сегодня, однако ж, меня как-бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо, — подумал я сам в себе, — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, — расскажи мне все, что знаешь про барышню, что́ она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может и говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайно политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

Ноября 12.

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и позвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкою. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» — сказала она. — «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидел, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка,

увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ласциться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» — и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узнаю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне все откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: и портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая… ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частию лежал на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к

твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ъ везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа́ называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папа́ тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофий со сливками. Ах, ma chère[39], я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хороши только из дичи,

и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь…

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее.

Я с большой охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папа́. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папа́:

…очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Получу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую

сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи? получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, ma chère, через неделю папá пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком… чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

Прощай, ma chère, я бегу и прочее… и прочее… Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи…

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего… будем продолжать.

…барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи

всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, ma chère, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то… я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши…

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числá не выставлено.

Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает,

что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян он, верно, не умеет, — то он бы был целою головою выше папá моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно, — такой мужик! Но неужели ты думаешь, ma chère, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, — ах нет… Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chère, какая у него мордочка!

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки … перевернем через страницу, не будет ли лучше:

… Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал

«Теплов!» — «Проси, — закричала Софи и бросилась обнимать меня… — Ах, Меджи, Меджи! Если бы ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь». И Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер, с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье, а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько на-бок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах! ma chère, о каком вздоре они говорили. Они говорили о том, как одна дама в танцах, вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, — и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! Какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и срав-

нить нельзя с камер-юнкерскою . А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравится и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете. Ах, ma chère, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке…

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папá всегда посылает его вместо слуги…

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримою ненавистию — и вот вредит

да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Так, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chère, Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником…

Черт возьми! я не могу более читать… Все или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут унижаться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю

на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, — и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета и на левом плече эполета, через плечо

голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папá, директор наш? О, это большой честолюбец! Это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то дона должна взойти на престол. Не может взойти дона на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, — не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там

же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Декабря 8.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы дона сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь… Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался.

Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что

у меня нет ни одного капуцина… В департамент не ходил… Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Мартобря 86 числа. Между днем и ночью.

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто ничего не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что если бы вы знали, кто между вами сидит… Господи Боже! какую бы вы ералаш подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетились. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали на перерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я

встал перед ним — никогда! Какой он директор? он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщины! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это.

Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему в звезду. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты, и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, Бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и от того уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

Никоторого числа. День был без числа.

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял

шапки, и я также; однако же я не подал никакого вида, что я испанский король. Почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое.

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

Число 1.

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! Что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари…

Мадрид. Февруарий тридцатый.

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалось странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в

небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно, — за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершается странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия

не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только один носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в зал у государственного совета, с тем, чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

Январь того же года, случившийся после фев-

раля.

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то, что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк. О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что

когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

Число 25.

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!» — Я все молчу. — «Фердинанд VIII, король испанский!» — Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! Знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

Чи 34, сло, Мц гдао,
чиvdээФ 349.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что

они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вот и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! — Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?



Все книги «Альпины»
Художественные книги «Альпины»



Полка наPROтив
t.me/polkanaprotiv



Вы автор?

Готовы поделиться своим опытом и экспертизой

Мы поможем вам написать книгу с нуля или отредактировать рукопись

Профессионально издадим и будем сопровождать на всех этапах работы

Альпина PRO — входит в издательскую группу «Альпина». Наше издательство стремится распространять знания, помогающие человеку развиваться и менять мир к лучшему.

Взяв лучшее из традиционного издательского

процесса и привнеся в него современные технологии, издательство Альпина PRO более 10 лет специализируется на издании бизнес-литературы. Помогает авторам и компаниям делиться опытом, обучать сотрудников и развивать индустрию.

Используя бутиковый подход к созданию авторского контента в формате 360 градусов, издательство издает и продвигает книги, написанные профессионалами для профессионалов.



Контакты: +7 (931) 009-41-95
Почта: marketingpro@alpina.ru

Примечания

Невский проспект

1. Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977.

2. Телескоп. 1835. Ч. XXVI. №7–8.

3. Библиотека для чтения. 1835. Т. IX. Отд. VI.

4. Телескоп. 1831. №13.

Нос

1. Манн Ю. В. Эволюция гоголевской фантастики // К истории русского романтизма. — М.: Наука, 1973. — С. 219–258.

2. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977. — С. 324–325.

3. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. — М.; Л.: ГИХЛ, 1959. — С. 270.

4. Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Поэтика (Сборники по теории поэтического языка, III). — Пг.: 19-я гос. тип., 1919. — С. 151.

5. Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика (Временник Отдела словесных искусств ГИИИ, I). — Л.: Academia, 1926. — С. 24, ср. 37.

6. Эйхенбаум Б. М. Указ. соч. — С. 151–152.

7. Гиппиус В. В. Творческий путь Гоголя // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 83.

8. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 6. — М.; Л., 1955. — С. 504, 406–407.

9. Шкловский В. Б. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. — Пг.: Опояз, 1921. — С. 10–11.

10. Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. — М.: Наука, 1976. — С. 5–8.

11. Там же.

12. Современник. 1836. Т. 3. — С. 54.

13. Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. — СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1903. — С. 262.

14. Булгарин Ф. В. Литературная юмористика // Северная пчела. 1836. 6 ноября. №255. — С. 1020.

15. Розен Е. Ф. Из статьи «Ссылка на мертвых» (1847) // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. Т. 2. — СПб.: Академический проект, 1998. — С. 318–319.

16. Шевырев С. П. Похождения Чичикова, или «Мертвые души»: Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Москвитянин. 1842. Ч. IV. Кн. 8. — С. 373.

17. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 6. — С. 661. Имеется в виду переделка повести для издания 1842 года.

18. Там же. Т. III. С. 52–53.

19. Там же. Т. I. С. 303.

20. Розанов В. В. Пушкин и Гоголь (1891) // Ро-

занов В. В. Полн. собр. соч.: В 35 т. Т. 1. — СПб.: Росток, 2014. — С. 146.

21. Розанов В. В. Гений формы (К 100-летию со дня рождения Гоголя) // Розанов В. В. Полн. собр. соч. Т. 4. — С. 266–269.

22. Там же.

23. Виноградов В. В. Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. — М.: Наука, 1976. — С. 5–44.

24. Karlinsky S. The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1976. — P. 123–125.

25. Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь: Творческий путь. 2-е изд. — М.: ГИХЛ, 1959. — С. 264.

26. Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. — 2-е изд. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1926.

27. Гуковский Г. А. Указ. соч. — С. 298.

28. Амальрик А. Пьесы. — Амстердам: Фонд имени Герцена, 1970. — С. 5–8.

29. Мальцев Ю. Русская литература в поисках форм // Грани. 1975. №98. — С. 169.

30. Вересаев В. В. Гоголь в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. — М.; Л.: Academia, 1933. — С. 213.

31. Набоков В. В. Николай Гоголь / Пер. Е. Голы-

шевой (при участии В. Голышева) // Набоков В. Американский период. Собр. соч.: В 5 т. — СПб.: Симпозиум, 2004. — С. 405.

32. Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. — М.: ГИХЛ, 1952. — С. 70, 532.

33. Вересаев В. В. Указ. соч. — С. 216.

34. Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. — С. 500–501.

35. Набоков В. В. Указ. соч. — С. 405.

36. Сенковский О. И. Похождения Чичикова, или «Мертвые души»: Поэма Н. Гоголя // Библиотека для чтения. 1842. Т. 53. Отд. VI. — С. 37.

37. Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. — С. 20–21, 286–287.

38. Пащенко Т. Г. Черты из жизни Гоголя // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. — С. 44.

39. Тынянов Ю. Н. Указ. соч. — С. 204.

40. Набоков В. В. Указ. соч. — С. 405.

41. Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин. Гоголь. Достоевский. — М.: НЛО, 1999. — С. 269–272.

42. Karlinsky S. Op. cit. — P. 129–130.

43. Набоков В. В. Указ. соч. — С. 405–406.

44. Виноградов В. В. Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы.

— С. 13, 18.

45. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4 (2). — М.: Языки славянских культур, 2010. — С. 99, ср. 340.

46. Дилакторская О. Г. Фантастическое в повести Н. В. Гоголя «Нос» // Русская литература. 1984. №1. — С. 162–163.

47. Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) // Литературное наследство. Т. 58. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — С. 550.

48. Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шанди / Пер. с англ. Т. III. — СПб.: Имп. типография, 1804. — С. 5.

49. Свод законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленный. Учреждения. Свод Учреждений государственных и губернских. Часть 3. Уставы о службе гражданской. — СПб.: в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1833. — С. 119.

50. Из письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 9 апреля 1836 года (Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. III. — СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1899. — С. 314).

51. Раскин Д. И. Чины и государственная служба в России в XIX — нач. XX века // Русские писатели:

Биографический словарь, 1800–1917. Т. 1. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — С. 663.

52. Там же. С. 661.

53. Гуковский Г. А. Указ. соч. — С. 283.

54. Ермилов В. В. Избранные работы в трех томах. Т. 2: Н. В. Гоголь. — М.: ГИХЛ, 1956. — С. 188.

55. Успенский Б. А. Время в гоголевском «Носе» («Нос» глазами этнографа) // Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — С. 49–50.

56. Там же. С. 50.

57. Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — С. 169–170.

58. Успенский Б. А. Указ. соч. — С. 50; Вайскопф М. Указ. соч. — С. 168.

59. Мф. 27:46. См. об этом: Вайскопф М. Указ. соч. — С. 169.

60. Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. — С. 24.

61. Тынянов Ю. Н. Указ. соч. — С. 204; Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Ученые записки Тартуского гос. университета. 1968. Вып. 209. — С. 39–41; Манн Ю. В. Указ. соч. — С. 234.

62. Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С. Г. О художественных мирах. — М.: Сов. Россия, 1985. — С. 124–160; Бочаров С. Г. Вокруг «Носа» // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. — М.: Языки русской культуры, 1999. — С. 98–120.

63. Chances E. Moscow Meets Manhattan: The Russian Soul of Woody Allen's Films // American Studies International. 1992. Vol. 30. №1. — P. 69.

Шинель

1. Набоков В. В. Апофеоз личины // Набоков В. В. Лекции по русской литературе. — М.: Независимая газета, 1999. — С. 126.

2. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М.: Худ. лит., 1988. — С. 128.

3. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. — М.; Л.: ГИХЛ, 1959.

4. Там же. С. 191.

5. Эпштейн М. Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. — М.: НЛО, 2015.

6. Набоков В. В. Указ. соч.

7. Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя: Монография. — Л.: Худ. лит., 1989. — С. 83.

Записки сумасшедшего

1. Золотусский И. П. «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела» // Золотусский И. П. Поэзия прозы. Статьи о Гоголе. — М.: Сов. писатель, 1987.

— С. 145–165.
2. Северная пчела. 1835. №73.
3. Библиотека для чтения. 1835. №2.
4. Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. «Арабески» и «Миргород» // Телескоп. 1835. Т. XXVI. №8.
5. Библиотека для чтения. 1836. №14.
6. Из отчета доктора Кайзера. Цит. по: Каннабих Ю. В. История психиатрии. — Л.: Гос. мед. изд-во, 1928.

Источники иллюстраций

{1} Вид Фонтанки у Аничкова моста. Гравюра Александра Тона. 1820-е годы. Государственный Эрмитаж.

{2} Иван Иванов с рисунка Василия Садовникова. Аничков дворец. Из серии «Панорама Невского проспекта». 1830 год. ГМИИ имени А. С. Пушкина.

{3} Мазурка. Иллюстрация на обложке The Dilettanti Polka Mazurka. 1850 год. The Library of Congress.

{4} Лев Бакст. Встреча майора Ковалева с носом. 1904 год. Государственная Третьяковская галерея.

{5} «Нос». Издательство «Светлана», 1921 год. Российская государственная библиотека.

{6} Н. В. Неврев. Елизавета Черткова. 1850-е. Из открытых источников.

{7} Фёдор Моллер. Портрет Николая Гоголя. 1840-е годы. Из открытых источников.

{8} Рембрандт Харменс ван Рейн. Притча о неразумном богаче. 1627 год. Берлинская картинная галерея.

{9} Титульный лист сборника «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». Санкт-Петербург, 1835 год. Российская государственная библиотека.

{10} Иннокентий Анненский. 1880-е годы. Российская государственная библиотека.

{11} Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. Ок. 1565 года. Государственный Эрмитаж.

{12} Этюд к картине Александра Иванова «Явление Христа народу». 1837–1857 годы. Государственная Третьяковская галерея.

{13} Борис Кустодиев. Акакий Акакиевич возвращается с вечера. Иллюстрация к повести. 1909 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

{14} Адольф Шарлемань. Рисунок формы работников Высочайшего двора. 1855 год. Из книги: Рисунки мундиров и мундирного шитья чинов Государственного Совета. Высочайше утверждены 27 февраля 1836 г. [Дело]. — Литография, бумага, акварель. — 1834. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. ФГУ Российский государственный исторический архив.

{15} «Шинель». Издательство Адольфа Маркса. Санкт-Петербург, 1895 год. Иллюстрации Игоря Грабаря. Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.

{16} Василий Садовников. Вид Зимнего дворца ночью. 1856 год. Государственный Эрмитаж.

{17} Невский проспект. Гравюра Ж. Л. Жакотте

и Регаме по рисунку Иосифа Шарлеманя. 1850-е годы. Из книги: Виды Санкт-Петербурга: Альбом / И. И. Шарлемань. — Санкт-Петербург: Изд-во Дж. Дациаро, [1840-е]. Российская национальная библиотека.

{18} Франсиско Гойя. Сумасшедший дом. 1812–1819 годы. Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид.

{19} Виссарион Белинский. Литография Петра Бореля с рисунка Кирилла Горбунова. 1843 год. Государственная публичная историческая библиотека России.

{20} «Северная пчела» за 1832 год. Из открытых источников.

{21} Легион в наступлении во время Первой карлистской войны. Иллюстрация из книги Civil war in Spain. Characteristic sketches of the different troops, regular and irregular, native and foreign, composing the armies of don Carlos and queen Isabella, also various scenes of military operations, and costumes of the spanish peasantry. London: J. Dickinson, 1837.

{22} Обуховская больница. Ок. 1870-х годов. Из книги: Попечительный совет заведений общественного призрения в С.-Петербурге. Очерк деятельности за 50 лет. 1828–1878 / По поруче-

нию Попечительного совета составил и издал К. Ордин, член совета. — С.-Петербург: Типография Второго отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1878. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина.

{23} Приемный покой в Обуховской больнице. 1887 год. Научная библиотека Академии художеств.

[1] Шейлок — один из главных персонажей шекспировской пьесы «Венецианский купец».

[2] — Моя жена! — Что вам угодно? — Ступайте на кухню! (искаж. *нем.* — Meine Frau! — Was wollen sie duch? — Gehen sie in die Küuhe!)

[3] Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — литературовед, текстолог, один из главных филологов-формалистов. В 1918-м вошел в кружок ОПОЯЗ наряду с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Романом Якобсоном, Осипом Бриком. В 1949 году подвергся гонениям во время сталинской кампании по борьбе с космополитизмом. Автор важнейших работ о Гоголе, Льве Толстом, Лескове, Ахматовой.

[4] Альберт фон Шамиссо (1781–1838) — немецкий поэт, писатель, ботаник и зоолог. Стал известен благодаря фантастической повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1813), по ее сюжету главный герой продает собственную тень, а затем начинает ее искать. Шамиссо совершил кругосветное плавание, свои впечатления от путешествия он собрал в книге «Путешествие вокруг света» (1834–1836). Также он открыл явление метагенеза и описал около 80 родов растений.

[5] Алексей Алексеевич Перовский (1787–1836) — писатель, работал под псевдонимом Антоний Погорельский. Перевел на немецкий «Бедную Лизу» Карамзина. Занимался ботаникой, три его публичные лекции на эту тему были изданы отдельной книгой. Участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был близок литературному кружку арзамасцев. Воспитывал племянника, будущего писателя Алексея Константиновича Толстого, для которого написал сказку «Черная курица, или Подземные жители», роман «Монастырка».

[6] Псевдоним Владимира Федоровича Одоевского (1804–1869) — писателя, филантропа, председателя кружка «Общество любомудров». Среди произведений Одоевского — утопический роман «4338-й год», повести и рассказы, сборник философских эссе «Русские ночи».

[7] Джеймс Джастин Мориер (1780–1849) — английский писатель и дипломат. Служил в посольстве в Персии, затем занялся литературой. Выпустил книгу «Путешествие по Персии, Армении и Малой Азии до Константинополя в 1808 и 1809 годах» (1812), романы «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» (1824) и «Хаджи-Баба в

Англии» (1828).

[8] Граф де Лотреамон (настоящее имя — Изидор-Люсьен Дюкасс; 1846–1870) — французский прозаик, поэт. Главное сочинение — поэма в прозе «Песни Мальдорора», оказавшая большое влияние на французских и русских символистов.

[9] Валерьян Федорович Переверзев (1882–1968) — литературовед-марксист. В советские годы был профессором МГУ, членом редколлегии «Литературной энциклопедии». Выдвинул идею «социального приказа» — еще более жесткого, чем «социальный заказ», требования правящего класса к писателю создавать произведения на нужные темы по установленным правилам. Метод Переверзева впоследствии назвали «вульгарным психологизмом». В 1938 году Переверзева арестовали и сослали на Колыму, после освобождения — повторный арест и ссылка в Красноярск. В 1956 году Переверзева реабилитировали, и он вернулся в Москву.

[10] Тавлинка — деревянная или берестяная табакерка.

[11] Персонаж повести Вольтера «Кандид», заболевший сифилисом.

[12] Отделение почтамта, занимающееся рассылкой газет.

[13] Техника черно-белой анимации, использующая устройство со множеством перемещающихся стальных иголок. Иглы, выдвинутые вперед, делают изображение темнее, задвинутые назад — светлее. Игольчатый экран придумал художник-график Александр Алексеев в 1931 году.

[14] по любви (*фр.*).

[15] Гоголь подолгу жил в Риме в период с 1837 по 1846 год. Здесь он почти полностью написал первый том «Мертвых душ». Из письма Гоголя Петру Плетневу: «Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде».

[16] Осип-Юлиан Иванович Сенковский (1800–1850) — писатель, редактор, востоковед. В юности совершил путешествие по Сирии, Египту и Турции, издал о нем путевые очерки. По возвращении устроился переводчиком в Иностранную коллегию. С 1828 по 1833 год служил цензором.

Сенковский основал один из первых массовых журналов — «Библиотека для чтения», редактировал его более десяти лет. Писал рассказы и публицистику под псевдонимом Барон Брамбеус.

[17] То есть кузнеца Вакулы из «Ночи перед Рождеством».

[18] Флорентий Федорович Павленков (1839–1900) — книгоиздатель. Начал карьеру во второй половине 1860-х, за издание сочинений Писарева был на десять лет выслан в Вятскую губернию. Во время ссылки работал над «Наглядной азбукой для обучения и самообучения грамоте», выдержавшей более 20 изданий. После ссылки вернулся в Петербург, где продолжил издавать книги. Издательство Павленкова публиковало произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, выпустило первое в России собрание сочинений Герцена. С 1889 года в нем начала выходить серия биографических книг «Жизнь замечательных людей». Свое наследство Павленков завещал народным библиотекам и фонду писателей.

[19] Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887–1950) — писатель и драматург. Вырос в Киеве, в начале 1920-х переехал в Москву, где преподавал в студии Камерного театра, рабо-

тал в издательстве «Энциклопедия», создавал сценарии для кино и рекламы. Кржижановский писал повести, новеллы, пьесы, но большинство текстов при его жизни опубликовано не было. Работал над очерками о москвичах в первый год войны, переводил с польского стихи и прозу.

[20] Жанровая сцена (*фр.*).

[21] Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда! (*фр.*)

[22] Какая прелесть! (*фр.*)

[23] Какое красивое лицо! (*фр.*)

[24] Великолепно, великолепно! (*фр.*)

[25] Какая великолепная мысль! *(фр.)*

[26] Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! (*фр.*)

[27] жанровая картина (*фр.*).

[28] Жан Лепаж — знаменитый оружейник. Из «Маскарада» Лермонтова: «Возьмут Лепажа пистолеты, / Отмерят тридцать два шага».

[29] добрый день, папа (*фр.*).

[30] Дворянское звание без права передачи по

наследству.

[31] Однодворцы владели небольшим земельным участком, в один двор. Эта сословная группа, по сути, занимала промежуточное положение между помещиками и крестьянами.

[32] Классный чин — квалификация должностного лица для занятия той или иной должности. Всего в табели о рангах содержалось 14 классных чинов: последнее место занимал коллежский регистратор, а первое — канцлер.

[33] Ассигнационный, бумажный, рубль ходил наравне с серебряным рублем с середины XVIII до середины XIX века. Один рубль серебром стоил примерно четыре ассигнационных. В отличие от серебряного рубля, курс ассигнаций постоянно менялся в зависимости от времени, места расчета, а также от вида обмениваемой монеты (медь или серебро).

[34] Николай Петрович Николев (1758–1815) — поэт и драматург. Был воспитанником княгини Екатерины Дашковой. Автор эпиграмм, классических од, стихотворений о любви. Получил известность как драматург. Во время военной службы простудился, ослеп и с 1801 года жил в

Москве. Николева называли русским Мильтоном (великий английский поэт также был слепым).

[35] Чарльз Роберт Мэтьюрин (1780–1824) — английский писатель. С 23 лет служил викарием в ирландской церкви, первые романы писал под псевдонимом. Стал известным благодаря пьесе «Бертран», ее высоко оценили Байрон и Вальтер Скотт. Роман Мэтьюрина «Мельмот Скиталец» считается классическим образцом английской готической литературы.

[36] Карл-Георг Фюльборн (1837–1902) — немецкий писатель, работал под псевдонимом Георг Борн. Владелец и редактор дрезденской газеты *Elbtal-Morgenzeitung.* Автор нескольких десятков популярных романов и повестей.

[37] Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) — итальянский художник, архитектор. Автор множества гравюр-офортов с изображением архитектурных памятников Древнего Рима. Одна из наиболее известных серий Пиранези — «Фантастические изображения темниц». Занимался преимущественно «бумажной архитектурой», из его реальных проектов — постройка церкви Санта-Мария-Авентина в Риме.

[38] Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) — один из самых значительных русских поэтов начала XIX века. Участвовал в Войне четвертой коалиции и Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов. Кратковременно был участником «Арзамаса», приятельствовал с Карамзиным, Вяземским, Василием Пушкиным, близким другом Батюшкова был переводчик Гомера Николай Гнедич. С начала 1820-х страдал от наследственного психического расстройства.

[39] моя милая (*фр.*).

Текст печатается по изданию: Гоголь Н. В. Петербургские повести. — СПб.: Наука, 1995.

Главный редактор: *Сергей Турко*

Руководитель проекта: *Елена Кунина*

Корректоры: *Мария Прянишникова-Перепелюк, Татьяна Редькина*

Компьютерная верстка: *Максим Поташкин*

Художественное оформление и макет: *Юрий Буга*

© Шубинский В., Пильщиков И., Марков А., Ларионов Д., предисловие, 2022

© ООО «Альпина Паблишер», 2024

© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2024

Гоголь Н.

Петербургские повести / Николай Гоголь. — М.: Альпина Паблишер, 2024. — (Серия «Главные книги русской литературы»).

ISBN 978-5-9614-9385-6